

ГАРРИС

**Уголок
Пушкина**

С ФОТОГРАФИЧЕСКИМИ СНИМКАМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

ГАРРИС

УГОЛОК ПУШКИНА

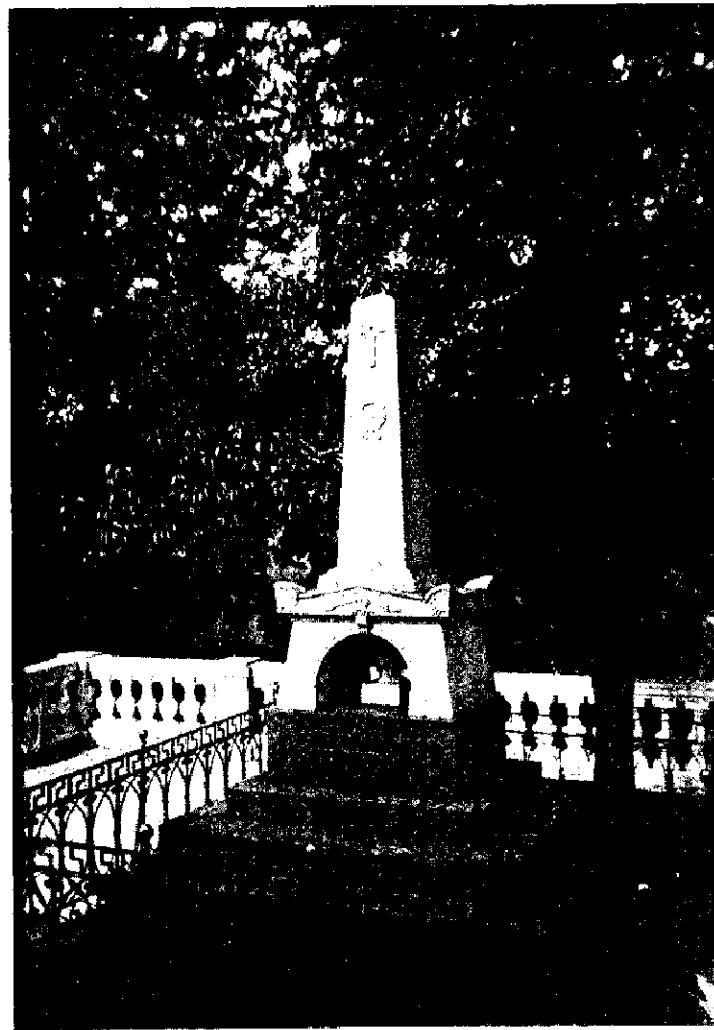
С фотографическими снимками.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

Гв. № 3654 „Главлит“ 7503, Москва.

Нет. 5,000 экз.

Нотопечатня имени П. И. Чайковского Музикального сектора Гиза.
Колпачный пер., 13.



Надгробный памятник А. С. Пушкина.

Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины:
В глухии звучал голос лирный,
Живее творческие сны...

В уединении мой своеизбранный
гений
Познал и тихий труд, и жажду
размышлений.
Владею днем моим; с порядком
дружен ум...

Живописная усадьба в глухи Псковской губернии, знаменитое Михайловское (или по местному «Зуево»), настолько тесно связана с Пушкиным, что изучение «михайловского» периода жизни поэта никогда не прекратится, как не прекратятся и паломнические «к святым местам» — в «Михайловские рощи», в Тригорское и в Святогорский монастырь. Пусть и следов почти не сохранился от этих уголков, но сохранился память: «Здесь жил Пушкин, здесь он погребен».

В разные периоды совершились путешесвия в Пушкинский уголок. Въезжались они и историко-литературными задачами — найти какую-нибудь до сих пор неизвестную черточку в жизни поэта, изучить по сохранившимся

шимся следам обстановку, его окружавшую, людей, с которыми он общался,—одним словом, раскопать и принести еще один кирпичик для того огромного здания, которое называют теперь «наукой о Пушкине». Из очерков Пушкинского уголка составилась целая литература, в которую входит много разнообразного материала, начиная с обстоятельных научных обследований, как, напр., обследование и описание библиотеки Тригорского¹⁾, и кончая путевыми заметками и впечатлениями, в текст которых авторы вводили не имеющий никакого отношения к Пушкину бытовой материал, вроде сценок в вагоне, разговоров с ямщиками и пр. Литература эта, включающая в себя много фактов, еще больше анекдотов и повторяющихся подробностей вроде бесед с «Пушкинскими стариками и старухами», вы佻оравшихся на многие лады многими авторами, которые гонялись за «стариками», пока они не вымерли²⁾), должна быть когда-нибудь пересмотрена и собрана в одно целое. Если для характеристики личности, жизни и творчества поэта в ней найдется не достаточно много фактов, то она немало даст материала для ознакомления с тем, насколько Россия и русские интересовались Пушкиным, как подходили к нему, в какой мере любовь к Пушкину из пышных слов превращалась в дело в области заботливого и бережного отношения

1) Б. Л. Модзялевский. Вокзала в селе Тригорское в 1902 г. СПБ. Изд. Наук. 1913.

2) Стабая струнка привезавших в Опочецкий уезд поклонников поэта была одно время настолько известна, что в деревнях появлялись самозваные современники Пушкина, которые в надежде на получение пособника, толковали о Пушкине что-то, довольно нелепое. Вероятно, за последние годы перевелись и они.

к тому живому музею, каким является его «псковская деревня» и ее окрестности.

Впрочем, с изучением «следов Пушкина» там, на родных его местах, теперь уже можно считать все поконченным. Вообще плохо сберегаемый уголок поэта в наше время совсем погиб. В 1918 году постройки в обеих усадьбах, в Михайловском и Тригорском, были сожжены, парки, если не совсем, то в значительной степени, вырублены; между прочим, вырублена и знаменитая старинная липовая аллея в Михайловском. Никаких сведений не поступало о том, удалось ли во время разгрома усадеб что-нибудь спасти в Тригорском, где, помимо современной поэту обстановки, сохранялись интересные портреты его самого и близких ему людей; были старинные картины, библиотеки и разные мелочи, связанные с его памятью. Нет сведений и о том, в каком состоянии находятся в Успенском Святогорском монастыре могила и намогильный памятник Пушкина, на котором еще в 1914 году, несмотря на ежегодное укрывание его от зимних морозов и снега, уже были кое-где замечены слабые трещинки. Белый мрамор, из которого сделан этот памятник, не отличается особенной прочностью и едва ли можно надеяться, что за истекшие пять лет, никем не сохранимый, да еще в нашем климате, он невредимо уцелел.

Страшный и горький факт уничтожения Пушкинского уголка, превративший прекрасную усадьбу поэта в «ничто», оподвинувший ее в невозвратимое прошлое, дает некоторое основание еще раз вспомнить о ней, иллюстрировав эти воспоминания послед-

ними снимками, которые были сделаны в родных местах поэта в 1914 г.¹⁾.

Но, вспоминая Михайловское в том виде, в каком оно уцелело до последнего момента своего существования, нельзя не вспомнить о жизни в нем Пушкина, о той роли, которую сыграла старая вотчина Ганнибалов в творчестве и в истории развития величайшего нашего гения. Не задаваясь целью писать самостоятельное исследование на тему «Пушкин в Михайловском», я позволю себе в ограниченных рамках настоящего очерка дать беглый обзор двухлетнего пребывания поэта в его родовой усадьбе и его связи с нею вообще, основываясь на имеющихся в Пушкинской литературе материалах по этому вопросу и письмах самого поэта.

Кто бывал в дорогой для каждого русского «псковской глухи», тот знает, что там каждая пядь земли воскрешала облик Пушкина, взвивала в памяти отрывки его произведений, воспоминания о нем его современников. Там сам собою перечитывался поэт, рисовались картины современного ему быта, отдельные моменты его переживаний, его встреч, его одиноких блужданий по Михайловскому и окрестностям, его близких соприкосновений с простым народом, к которому в этот период своей жизни он впервые подошел вполне, творчество которого он впервые начал внимательно изучать, не tol-

1) Одновременно с фотографическими снимками мне удалось в том же 1914 году, при посредстве любезно отозвавшейся на мое предложение московской кинематографической фирмы А. Ханжонкова, воспроизвести уголки Пушкина, начиная с почтовой станции Новгородки, на кинематографической фильме. Фильма эта была скончана мною надписями из текстов Пушкина, Языкова и др., но, к сожалению, видимо, погибла в 1918 г. при реквизиции кинематографических фабрик и складов, т. к. была отпечатана тогда в одном только экземпляре.

ко в изустной передаче няни Ариньи Родионовны, но и в широком источнике самой крестьянской жизни. Недаром, одевшись в простую рубаху, он сиживал с нищими у ворот Святогорского монастыря и слушал их песни, как рассказывают местные предания о «чудацствах» Пушкина. То были не чудацства, а чуткая, мудрая настороженность гения, всматривающегося в художественную и национальную физиономию своего народа.

..... В разны годы
Под вашу сень Михайловские рощи,
Являлся я. Когда вы в первый раз
Увидели меня, тогда я был
Веселым юношей. Беспечно, жадно
Я приступал лишь только к жизни. Годы
Промчалися—и вы во мне прияли
Усталого пришельца. Я еще
Был молод, но уже судьба
Меня борьбой неравной истомила;
Я был ожесточен. В уныньи часто
Я помышлял о юности моей,
Утраченной в бесплодных испытаниях,
О строгости заслуженных упреков,
О дружбе, заплатившей мне обидой—
За жар души доверчивой и нежной—
И горькие кипели в сердце чувства.

Сельцо Михайловское Опочецкого уезда Псковской губернии перешло к Пушкиным по женской линии от Ганнибалов и принадлежало матери поэта. Кем и когда оно было «пожаловано» Ганнибалам, нам в точности выяснить не удалось (вероятно, получил его от своего крестного отца, Петра Великого, сам «царский арап»), но есть указание, что в 1731 году Абрам Петрович Ганнибал был сослан Минихом в деревню¹⁾.

1) И. Лернер. Труды и дни А. С. Пушкина. М. 1903. Изд. „Скорпион“.

Несомненно, деревня эта и была псковское поместье, где по словам самого поэта, «скрывался» его «прадед-арал».

Сам Пушкин первые годы своего детства проводит в другом имении, Захарове, и, после безвыездной жизни в Царскосельском лицее, попадает в места своей будущей ссылки в 1817 году. По всем данным приходится предполагать, что это была его первая поездка в Псковский уголок, о чем он и сам говорит в своем известном стихотворении. Только что вступив на службу после окончания Лицея¹⁾ он, менее чем через месяц, подает прошение на высохшее имя об отпуске по 15-е сентября в Псковскую губернию, «для приведения в порядок домашних дел». Первое пребывание в Михайловском было кратковременным. Он возвращается оттуда в августе того же года. В тот период он, по собственному признанию, был «веселым юношей», который «беспечно жадно» «присступал лишь только к жизни», и едва ли несколько недель, проведенных в живописном, но глухом уголке, могли произвести на него глубокое впечатление. Надо думать, что наскучивший лицейским започинием, едва вырвавшийся на свободу, и со всей безудержностью своей кипучей натурой предававшийся широкому разгулу, юный Пушкин в ту пору и не представлял себе даже возможности уединенной деревенской жизни, к которой погнало его много позднее. Памятью этого первого посещения осталось «Прощание с Тригорским» —

¹⁾ Выпуск из лицея 9-го июня 1817 г. и 18-го июня зачисление в ведомство Иностранных Дел.

Простите, милые дубравы,
Прости, беспечный мир полей,
И легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней.
Прости, Тригорское, где радость
Мея встречала столько раз.
На то ль узнал я вашу сладость,
Чтоб навсегда покинуть вас?
От вас беру воспоминанье,
А сердце оставляю вам.
Быть может (сладкое мечтанье)
Я к вашим возвращусь полям,
Приду под липовые своды
На скат Тригорского холма,
Поклонник дружеской свободы,
Веселых граций и ума.

В этих строках веселого прощанья нет ни задумчивости, ни грусти: жизнерадостный маленький, который всюду несет с собой неиссякаемый источник кипучих сил, беззаботных улыбок, приветливо принят в Тригорском; веселье с ним неразлучно и, уезжая, он с благодарностью кивает оставшимся, а жизнь уже мчит его все вперед и вперед, и ему никогда остановиться...

Этот бурлящий поток мчал Пушкина вплоть до 1824 года. Безудержное упоение жизнью в Петербурге, беспечность, погоня за наслаждениями, жадная, безумная; сжигание самого себя, за которое друзья называют его «беснующийся Пушкин»; излишества и неосторожности, доводящие его не раз до болезни, дуэли, любовные похождения без меры и числа, попойки с гусарами и импературная рабочая... Пушкин весь в пылу, он горит. Это горение не прекращается и потом, после ссылки на юг, ни в Одессе, ни на Кавказе, ни в Крыму. Только прибавляется много новых впечатлений, вспыхивают в нем новые

чества. В Бессарабии горение доходит до своего апогея, творчество идея рука об руку с неудержимым разгулом... Потом опять Одесса, и вдруг, как удар грома среди ясного неба—приказ о ссылке в Псковскую губернию. В промежуток от 1817 до 1824 года Пушкин во второй раз недолго заглядывает в Михайловское, а—именно во второй половине июля 1818 года. От этой его поездки сохранились только два письма: к А. И. Тургеневу (19-го июля) и к Н. И. Кривцову (черновое, без точной даты). В первом из них ни единым звуком он не упоминает о Михайловском, а во втором имеются только такие строчки: «Помнишь ли ты, жителъ свободной Англии, что есть на свете Псковская губерния, откуда пишетъ тебе твой ленивецъ, котораго ты, верно, помнишь (и любишь), который о тебе каждый день груститъ, на котораго ты можешьъ и долженъ бы сердиться, но не знаю сердишься ли. Я не люблю писать, языкъ и голосъ едва ли достаточны для выражения нашихъ мыслей и чувствъ, а перо еще глупее, такъ (бедно) глупо, такъ медленно; письмо не можетъ заменить разговора...»

«Ленивецъ», сибаритъ, которому не хочется писать писемъ... Видимо, во второй приезд в Михайловское, он почувствовал в деревенской тишине истомную усталость от своей вихрем бушевавшей жизни... И вдруг эта деревня становится уже не краткосрочным отдыхом, не местом остановки в деловой поездке, а местом заточения, срок которому не определен и определен быть не может. Он знает, что недовольство его поведением и раздражение против него достаточно велики, и надежды на скорое освобождение неиз-

Поводом к заточению Пушкина в Псковской губернии был, как известно, пустой случай—письмо, в котором находилось суждение об «афеизме», но при известных условиях этого было достаточно, чтобы увидеть в нем едва ли не государственного преступника, «подрывающего основы», и он сослан был под надзор. Граф Нессельроде 11-го июня 1824 года писал о Пушкине, что «последний нисколько не отказался от дурных начальных, ознаменовавших первое время его публичной деятельности».

Далее сообщалось: «Доказательством тому может служить препровождаемое у сего письмо Пушкина, которое обратило внимание московской полиции по толкам, им возбужденным. По всем этим причинам, правительство приняло решение исключить Пушкина из списков чиновников министерства иностранных дел, с объяснением, что мера эта вызвана его беспутством (*par son inconstituité*), а чтобы не оправить молодого человека вовсе без всякого присмотра и тем не подать ему средств свободно распространять свои губительные начала, которые под конец вызвали бы на него строжайшую кару закона, правительство повелевает, не ограничиваясь отставкой, выслать Пушкина в имение его родных, в Псковскую губернию, подчинить его там надзору местных властей и приступить к исполнению этого решения немедленно, приняв на счет казны издержки его путешествия до Пскова»¹⁾.

29-го июля 1824 года Пушкин дает подпись ехать на место ссылки безостановочно,

¹⁾ П. Анненков. „А. С. Пушкин в Александровскую эпоху 1799—1826 г.г.“. СПб. 1874 г.

по предписанному маршруту, и на другой же день въезжает, получив 389 рублей прогонных денег и 150 р. недоданного жалованья. Во исполнение предписания он нигде в пути не задерживается, и 9-го августа приезжает в Михайловское, где застает всю свою семью.

Быть сосланным в деревню на жительство в двадцатипятилетнем возрасте, без надежды на скорое освобождение, да еще при личности полицейского надзора,—всякому показалось бы тяжко. Тем более, была невыносима такая ссылка для Пушкина, с его кипучей натурой и исключительной, чисто творческой жаждой жизни; и, все-же, два года пребывания в Михайловском являются одним из наиболее плодотворных периодов его поэтического служения. С Михайловского начинается во всех отношениях новая эпоха в жизни Пушкина, в истории развития его человеческой и художественной личности. Это—эпоха его зрелости, когда с особенной силой начался процесс кристаллизации всех полученных им от жизни восприятий, когда все ценные частицы начали отставаться и собираясь в одно мощное целое, очищаясь от мутных примесей; когда прожитая жизнь требовала, помимо пышного и яркого цветения, полновесных, взревших плодов.

Немалого стоил Пушкину его Михайловский запор, но он дал огромные результаты. В то время, когда Пушкин—молодой человек томился и негодовал на свое положение, Пушкин—художник вступал в пору своего полного, самобытного расцвета,—недаром из Михайловского написаны его наибо-

лее отчаянные письма и в Михайловском же созданы его лучшие произведения.

Позднее поэт и сам вполне оценил свой «запор». Когда в 1826 г. Николай I вызвал его в Москву и снял с него опалу, для Пушкина началась опять внешне свободная жизнь, но он неоднократно вспоминал о годах, проведенных в деревенской ссылке, вспоминал с удовольствием и с сожалением. И неудивительно: последовавшая затем женитьба его на Гончаровой, вынужденные выезды с женой в «большой свет» и злополучное камер-юнкерство уже не давали ему больше возможности найти для работы тот ясный и невозмутимый покой, который был ему так необходим. Измученный всей совокупностью условий своей жизни в Петербурге, он мечтал о переселении в деревню, чем дальше, тем настойчивее. Деревня рисовалась ему не только единственным выходом из его, всячески запутанного, положения —одинаковым спасением как от его нелепой и мучительной роли при дворе, от тягостной прикрепленности к светским обязанностям, так и от все более безвыходных денежных обстоятельств,—деревня была для него тем обетованым внутренним простором, на котором жаждал развернуть всю свою творческую мощь его гений, ничем не теснимый и не раздражаемый. Пушкин-человек в деревне чаял для себя избавления от злобного и поплого преследования «позора мелочных обид», очищения своей семейной обстановки. Пушкин—художник чувствовал, несмотря на все величие уже прошедшего им творческого пути, что в нем еще много незрасходованных сил, что необъятные дали

открываются его гению и в будущем, но нужна иная обстановка, иной воздух. Он рвался в деревню для отдыха и созидания; но не суждено ему было спастись и не суждено было России получить всего Пушкина, получить все богатства гения, использовавшего свою жизнь до конца... Кощунственно-преступная пуля Данпеса положила конец всяkim надеждам и возможностям; и, хотя много лет прошло с той страшной минуты, до сих пор нельзя без жуткой боли перечитывать строки призыва, обращенного поэтом к своей жене, призыва, в котором чувствуется сдержанное изнеможение измученного Пушкина, призыва, который не был ни понят, ни услышан:

Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит.
Летят за днями дни, и каждый день уносит
Частицу бытия, а мы с тобой вдвоем
Располагаем жить. И глядь—все прах: умрем.
На свете счастья нет, а есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля.
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег¹⁾.

Приезд Пушкина в Михайловское в 1824 г. был далеко не радостен, и встреча с жившими там родителями не обещала ему патриархального уюта, семейной теплоты и ласки. Старики Пушкины, всегда далекие даже

1) Это стихотворение приводится здесь по общепавестной редакции, как наиболее для нас привычной. М. Гофман в работе своей, „Посмертные стихотворения Пушкина“ 1883—1886 г.г. Петроград 1922 г. дает следующий текст по автографу:

Пора, мой друг, пора. (покоя) сердце просит—
Летят за днями дни, и каждый день уносит
Частичу бытия—а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить—и глядь—как раз—умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля—
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

от любимых детей, безалаберные эгоисты, дорожившие только внешней стороной жизни, здесь, вдали от «света», ничуть не изменились к лучшему, только еще больше опустились. Поэт, не сблизившийся с ними даже в дни детства и юности, должен был теперь особенно неприятно чувствовать себя, попав под родительский кров вынужденно, да еще в положении сыновьяного. Это последнее обстоятельство осложнило его отношение к отцу и матери в худшую сторону. С. А. Пушкин, как все эгоистические и пруслиевые люди, был склонен к преувеличениям и готов был видеть в своем сыне опасного человека, присутствие которого может грозить всякими бедами и ему и его семье. Обвинение поэта в проповеди атеизма было им принято за чистую монету и он боязливо смотрел на дружбу своего старшего сына с другими детьми, не ожидая от нее ничего, кроме наследования тех же безбожных начал. При таком положении вещей отношения создались тягостные и напряженные, и в дальнейшем привели к столкновению, которое сильно ударило поэта по его и без того напрянутым нервам.

Надзор за Пушкиным, между прочим, был поручен и псковскому предводителю дворянства Пещурову, который имел неосторожность предложить отцу следить за собственным сыном, а С. А. Пушкин, по беспакости и нечуткости своей, согласился на такую роль, что и вызвало разрыв.

Письма этого периода достаточно ярко передают семейные отношения Пушкина и разыгравшуюся камасирскую. В первых, очень немногих, письмах поэту отзываются кратко:

Гаррис. Уголок Пушкина.

«О своем житъе-бытье ничего не скажу. Скучно, вот и все» (письмо к Н. А. Вяземскому 10-го октября). Но уже вскоре «житъе-бытье» обрисовывается по-иному. В черновом письме к княгине В. Ф. Вяземской он говорит о «бешеної скъке» (*la rage de l'ennui*) своего «глупого существования» (*de ma sotte existence*) и дальше обрисовывает свою семейную обстановку:

«Ce que j'avais prévu s'est trouvé vrai. Ma présence au milieu de ma famille n'a fait que redoubler les chagrins assez réels. Le gouvernement a eu l'infamie de proposer à mon père d'être son agent de persécution. On m'a reproché mon exil; on se croit entraîné dans mon malheur, on prétend que je prêche l'athéisme à ma soeur, qui est une créature céleste, et à mon frère, qui est très drôle et très-jeune, qui admirait mes vers et que j'ennuie très-certainement. Mon père a eu la faiblesse d'accepter, un emploi qui le met dans tous les cas dans une fausse position à mon égard. Cela fait que je passe à cheval et dans les champs tout le temps, que je ne suis pas au lit. Tout ce que me rappelle la mer m'attriste, le bruit d'une fontaine me fait mal à tête; je crois qu'un bon ciel me ferait pleurer de rage. Но—слава à Dieu—небо у нас сивое, а луна—точно репа...»

В письме к Жуковскому картина семейных отношений обрисована уже со всех сторон. «Милый, прибегаю к тебе», пишет он ему 31-го октября, «посуди о моем положении. Приехав сюда, был я всеми встречен, как нелзя лучше, но скоро все переменилось. Отец, испуганный моей ссыпкой, беспрестанно твердил, что и его ожидают та же участь. Пещуров, назначенный за мною смотреть, предложил отцу моему должностъ распечатать

мою переписку, короче, быть моим шпионом. Вспыльчивость и раздражительность моего отца не позволяли мне с ним объясняться; я решился молчать. Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получаю бумагу, до меня касающуюся. Наконец, желая вывести себя из пягостного положения, прихожу к отцу моему и прошу позволения говорить искренно—более ни слова. Отец осердился. Я поклонился, сел верхом и уехал. Отец призывает брата и повелевает ему не знаться avec ce monstre, avec ce fils dénaturé. Жуковский, думай о моем положении и суди. Голова моя закипела, когда я узнал все это. Иду к отцу, нахожу его в спальне и выскаживаю все, что у меня было на сердце целых три месяца, кончая тем, что говорю ему последний раз...

Отец мой, воспользовавшись отсутствием свидетелей, выбегает и всему дому объявляет, что я его бил... Потом, что хотел быть.

Перед тобою не оправдываюсь. Но чего он хочет для меня с уголовными обвинениями? Рудников сибирских и лишения чести? Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем.

Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра. Еще раз спаси меня... Попроси: обвинение отца известно всему дому. Никто не верит, но все его повторяют. Соседи знают. Я с ними не хочу объясняться. Дойдет до правительства, посуди, что будет. А на меня и суда нет. Я hors de loi.

P. S. Надобно тебе сказать, что я писал уже бумагу губернатору, в которой прошу его о крепости, умалчивая о причинах. П. А. Осипова, у которой пишу тебе эти строки,

уговорила меня сделать тебе и эту доверенность. Признаюсь, мне немного на себя до-садно, да, а уша моя, голова кругом идет».

Пушкин действитель но писал Б. А. Адеркасу, прося о переводе в крепость: «Государь Император высочайше соизволил меня послать в поместье моих родителей, думая тем облегчить их горесть и участье сына. Но важные обвинения правителъства пали на сердце моего отца и раздражили мнимой ностъ, простителъную старости и нежной любви к прочим детям. Решаюсь для его спокойствия и своего собственного просить Его Императорское Величество, да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидая сей последней милости от ходатайства Вашего Превосходительства».

Письмо это не было послано, но оно хорошо рисует то состояние, до которого был доведен Пушкин «родственным вниманием» своих родителей. К счастью для него, он, вообще избегавший соседей, сблизился очень тесно с семьей жившей в Тригорском П. А. Осиповой, которая с искренним участием относилась к ссыленному поэту, и дружеское расположение к которой он сохранил до конца. Семья Осиповых была единственным убежищем для Пушкина, где он спасался не только от тяжелой домашней атмосферы, но и позднее от скучища своего одиночества. Хотя некоторые биографы поэта¹⁾ и настаивают на том, что связь с семьей Осиповой у Пушкина была чисто внешняя, что он только шутил и балагурил с ~~ними~~, глубоко тая от всех свой внутренний мир, но самий факт откровенности его со своей соседкой из Три-

горского в момент тяжелого столкновения с отцом, столкновения, о котором Пушкин писал только самым близким друзьям, — доказывает, что в Тригорском он искал не одних лишь развлечений в обществе наивной женской молодежи, но и того душевного тепла, которого ему одинаково недоставало у себя дома, как при родителях, так и после их отъезда. На душу поэта, раздраженную всеми предшествовавшими событиями, из которых не последнюю роль играло глубокое увлечение, пережитое им на юге и не погашенное и по приезде в Псковскую губернию, атмосфера культурной и внимательной к Пушкину семьи П. А. Осиповой, семье, представлявшей собой исключительно женское общество, должна была оказывать смягчающее и успокаивающее влияние. После бурных кутежей и безудержного разгула, тригорские жительницы, так же как в свое время семья Раевских, внесли в жизнь Пушкина те элементы, которых он был лишен с самого детства, потому что у него, по настоящему, никогда не было семьи, ибо нельзя назвать семьей безалаберный дом его родителей, где русская неряшлисть и сумбурность перемешивалась с холодной светскойностью на иностраный лад, где детей не замечали, где замечала и любила маленького поэта одна его няня, Арина Родионовна. Не то важно, что Пушкин не открывал в Тригорском тайников своей души и своих творческих замыслов, а больше, будто бы, дурачился с совсем еще зеленою молодежью, измеряя, например, талию Евпраксии Николаевны Вульф и свою, и дразня ее тем, что или у него талия 15-летней барышни, или у нея

1) П. Аникиков

тала 25 летнего мужчины, но важно то, что ему было куда прийти из своего «затвора». В Тригорском ему всегда были рады, он чувствовал себя там легко и свободно, там он не только брал книги из библиотеки, но, слушалось, и писал; там интересовались им как поэтом.

Если у него не могло быть дружеского равенства с дочерьми П. А. Осиповой, то он сошелся с ее сыном, А. Н. Вульфом, приезжавшим из Дерптского университета на кануну; наконец, со стороны самой П. А. он, во всяком случае, видел больше материнского участия, нежели со стороны своей родной матери. Конечно, Тригорское не могло его примирить с мыслью о деревенском заточении и после отъезда своих родителей, оставшись в Михайловском вдвоем с няней, Пушкин, хотя и вздохнул с облегчением, но, вместе с тем, ощущил и всю томительность своего положения. Оторванный от своих друзей, от любимых лицейских товарищей, от жизни обеих столиц, от литературных кругов, он не мог не тосковать. И тут явилась мысль о побеге, побеге за границу, куда он и раньше мечтал попасть. Был составлен целый план, в который был, как действующее лицо, посвящен и А. Н. Вульф, (кажется, и П. А. Осипова), велась по этому поводу условная переписка; но болтливость брата Пушкина, Льва Сергеевича, преждевременно разгласила этот замысел, затем возникли всякие осложнения и недоразумения, благодаря которым пришлось от него отказаться, а неумелое вмешательство матери поэта в его ходатайство о легальном выезде за границу, якобы для лечения, погубило и последнюю

надежду. Убедившись в неосуществимости своих чаяний, Пушкин решил пока примириться со своим «затвором». Нельзя сказать, что он только первое время тосковал в деревне, а потом совершенно в ней освоился и настолько, что и не помышлял о свободе. К ссылке нельзя привыкнуть, но, несомненно, первый ее период был гораздо томительнее, чем второй, когда Пушкина с головой захватила работа над Борисом Годуновым, изучение русской истории, изучение Шекспира как драматурга. Тоска находила на него периодами, и в первое время присступы ее, конечно, были гораздо болезненнее и острее, но, со всем тем, поэт не мог не сознавать, не только много позднее, но и во время самого заточения в Михайловском, что время даром не потеряно, что деревенское уединение во многих отношениях его обогатило.

К сожалению поэт не оставил нам дневника своей жизни в Михайловском, и биографы Пушкина, специально изучавшие и описывавшие именно эту эпоху его жизни, не могли описать его пребывания там день за днем. Самый ценный материал — переписка этого периода, воспоминания и произведения там написанные. Мы не имеем возможности привести всех писем, с 9-го августа 1824 года по сентябрь 1826 года, когда он был вызван в Москву, хотя при мысленном паломничестве в усадьбу поэта, при рассматривании снимков, воспроизводящих кусочки Пушкинского уголка, хочется перечесть каждую строку, вышедшую там из-под его пера. В период ссылки им написано из Псковской губернии 108 писем, включая сюда и обращения к официальным лицам. Настроение

ние, отражающееся в этой переписке, очень разнообразно, как разнообразен был сам Пушкин, кипучий, живой, умевший всецело отдаваться тому, что его в данную минуту занимало. Но при всей многоцветности мыслей, чувств и манер писать, в письмах Михайловского периода есть одна обобщающая их черта: письма эти писались не в суполоке жизни, не на-спех, не среди нагромождения внешних событий, поэтому в них почти все почерпалось из себя, все впечатления пережиты и переработаны, в них особенно отразился внутренний Пушкин, которого хопя и одолевала порой тоска заточения, но зато не особенно одолевали мелкие житейские заботы. Еще не было мысли о женитъбе, не было семьи, не было сложных обязанностей и не томила ежеминутная необходимость, прежде всего, добывать деньги, а для этого как-то изворачиваясь, платить одни долги, делать другие, думать о квартире, об экипажах, о штате прислуги, о том, чтобы в светском доме первой красавицы, Н. Н. Пушкиной, и у него был мало малъски изолированный рабочий уголок... Он мог и работать, и думать не спеша, не погоняясь острой нуждой и волноваться только при издании своих произведений, при пересмотре и отправке их для печати, при входе их в свет и цензурных перипетиях.

В письме к Д. М. Княжевичу (черновое, декабрь 1824) чувствуются первые проблески умиротворения после пережитых неприятностей с семьей.

«Буря, кажется, успокоилась. Осмеливаюсь выглянуть из своего гнезда и подать вам голос, милый Дмитрий Максимович. Вот уже

четыре месяца как нахожусь я в глухой деревне,—скучно, да нечего делать. Здесь нет ни моря, ни голубого неба, ни итальянской оперы, ни вас, друзья мои. Но за то нет ни саранчи, ни милордов Воронцовых. Уединение мое совершенно, праздность торжественна. Соседей около меня мало, я знаком только с одним семейством и то вижу его довольно редко, (совершенный Онегин); целый день верхом, вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны; вы, кажется, раз ее видели; она единственная моя подруга и с нею только (одною) мне не скучно. (Я в переписке только с Жуковским и Вяземским). Об Одессе ни слуху, ни духу. Сердце вести просит,—а то не смел запечатывать переписку с оставленными товарищами (долго крепился, но не утерпел). Ради Бога, слово живое об Одессе,—скажите мне, что у вас делается...»

«Уединение совершенное и праздность торжественная» все же не отделяют Пушкина от связей с тем миром, из которого его выбросила судьба, не заглушают в нем, даже и на короткое время, умственных интересов. Он просит книг, стихов, просит, особенно, выслать ему Библию, спрашивает обо всех: «Благодарю тебя за книги»,—обращается он к брату да пришли мне всевозможные календари, кроме придворного и академического. Кстати—начало речи старика Шишкова меня тронуло, да конец подгадил все. Что ныне цензура? Напиши мне нечто:

о Карамзине, ой, вих,
Жуковском,
Тургеневе А.,
Северине,
Рылееве и Бестужеве.

и вообще о полках публики...». В этом же письме, между прочим, несколько строк, на условленном языке, о задуманном побеге, полки о котором он намеренно опровергает, чтобы не создать для себя неприятных подозрений. Пушкин реагирует на все события удаленной от него жизни, весть о которых долетает в его уединение. Отзываются он не только на текущую литературу: его беспокоит участие восемилетней девочки гречанки, сироты, которую он просит Жуковского устроить, беспокоит положение пострадавших от наводнения жителей Петербурга и, хотя в первый момент, под влиянием желчного состояния, у него вырываются резкие слова: «Что это у вас? Потоп? ништо проклятому Петербургу», — но уже в следующем письме он предлагает брату «помогать из Онегинских денег», если придет случай «помочь какому-нибудь несчастному» только помогать «без всякого шума ни словесного, ни письменного». «Этот потоп» у него «с ума нейдет»... То, что незаметно проходит для других, трогает глубоко чуткую душу Пушкина, и в письмах его вспречается, например, такая приписка: «P. S. Слепой поп перевел Сираха (смотри Инвалид № какой-то), издает по подписке — подписавшись на несколько экземпляров».

В декабре того-же 1824 года, в письме к А. Г. Родзянко, находим первое упоминание об А. П. Керн: «Объясни мне, милый: что такое А. П. Керн, которая написала много нежностей обо мне своей кузине? Говорят, что премиленка вещь...». Пушкин вспречался с нею у Олениных, но, видимо, забыл об этом, когда писал Родзянко. Он не предполагал, что и в ссылке ему предстоит пережить сильное

увлечение, которое он навсегда обессмертил вместе о памятью о Тригорском и с Михайловском, в своих изумительных стихах.

Самым радостным событием первых месяцев жизни в Михайловском был приезд Пущина, который неожиданно предстал перед своим лицейским товарищем, завернув к нему на одни сутки из Пскова и не предполагая, что, навещая его, он и прощается с ним навеки. Рассказ самого Пущина об этом свиданье дает удивительную картины не только самой встречи и жизни Пушкина в деревне, но и Михайловского в зимнюю пору, затерянного в глуши, среди снегов. « . . . вечером пустился из Пскова; в Острове, проездом ночью, взял три бутылки Клико и утром следующего дня уже приближался к желаемой цели. Свернули мы, наконец, с дороги в сторону, мчались среди леса по гористому проселку: все мне казалось не довольно скоро. Спускаясь с горы, недалеко уже от усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть, сани наши в ухабе так наклонились на-бок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога до ворот крепости, кое-как удержались в санях, схватили вожжи, кони несут среди сугробов, опасности нет: в сторону не бросятся, все лес, и снег им по брюхо, править не нужно. Скачем опять в гору извилистой тропой; вдруг кругой поворот, и, как будто неожиданно, вломились смаху в притворенные ворота, при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, промтачили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора.

и вообще о толках публики...». В этом же письме, между прочим, несколько строк, на условленном языке, о задуманном побеге, толки о котором он намеренно опровергает, чтобы не создать для себя неприятных подозрений. Пушкин реагирует на все события удаленной от него жизни, весть о которых долетает в его уединение. Отзываются он не только на текущую литературу: его беспокоит участь восемилетний девочки гречанки, сироты, которую он просит Жуковского устроить, беспокоит положение пострадавших от наводнения жителей Петербурга и, хотя в первый момент, под влиянием желчного состояния, у него вспыхивают резкие слова: «Что это у вас? Потоп? ништо проklärя тому Петербургу», — но уже в следующем письме он предлагает брату «помогать из Онегинских денег», если придет случай «помочь какому-нибудь несчастному» только помогать «без всякого шума ни словесного, ни письменного». «Этот потоп» у него «с ума нейдет»... То, что незаметно проходит для других, трогает глубоко чуткую душу Пушкина, и в письмах его встречается, например, такая приписка: «Р. S. Слепой поп перевел Сираха (смотря Инвалид № какой-то), издает по подписке — подписавшись на несколько экземпляров».

В декабре того-же 1824 года, в письме к А. Г. Родзянко, находим первое упоминание об А. П. Керн: «Объясни мне, милый: что такое А. П. Керн, которая написала много нежностей обо мне своей кузине? Говорят, что премиленная вещь...». Пушкин встречался с нею у Олениных, но, видимо, забыл об этом, когда писал Родзянко. Он не предполагал, что и в ссылке ему предстоит пережить сильное

увлечение, которое он навсегда обессмертил вместе о памятию о Тригорском и с Михайловском, в своих изумительных стихах.

Самым радостным событием первых месяцев жизни в Михайловском был приезд Пущина, который неожиданно предстал перед своим лицейским товарищем, завернув к нему на одни сутки из Пскова и не предполагая, что, навещая его, он и прощается с ним навеки. Рассказ самого Пущина об этом свиданье дает удивительную картину не только самой встречи и жизни Пушкина в деревне, но и Михайловского в зимнюю пору, затерянного в глухи, среди снегов. « . . . вечером пустился из Пскова; в Острове, проездом ночью, взял три бутылки Клико и утром следующего дня уже приближался к желаемой цели. Свернули мы, наконец, с дороги в сторону, мчались среди леса по гористому проселку: все мне казалось не довольно скоро. Спускаясь с горы, недалеко уже от усадьбы, которой за частыми соснами нельзя было видеть, сани наши в ухабе так наклонились на-бок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога до ворот крепости, кое-как удержались в санях, схватили вожжи, кони несут среди сугробов, опасности нет: в сторону не бросяется, все лес, и снег им по брюхо, править не нужно. Скачем опять в гору извилистой тропой; вдруг крутой поворот, и, как будто неожиданно, вломились смаху в притворенные ворота, при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, пропащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора.

«Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкин босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что со мной тогда происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и ташу в комнату. На дворе страшный холод, но в инвие минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим, он забыл, что надо прикрыть наготу, я не думаю об заиндевевшей шубе и шапке. Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один — почти голый, другой — весь забросанный снегом. Наконец, пробила слеза (она и теперь, через тридцать три года, мешает писать в очках), мы очнулись. Совсем спало перед этой женщиной, впрочем, она поняла все. Не знаю, за кого приняла меня, только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, и чутЬ не задушил ее в объятиях. Все это происходило на маленьком пространстве. Комната Александра была возле крыльца, с окном на двор, через которое он увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами и проч. и проч. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки первьев (он всегда, с самого лицея, писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах). Вход к нему прямо из коридора; против его двери — дверь в комнату няни, где стояло множество пяльцев.

«После первых наших обниманий, пришел и Алексей, который, в свою очередь, кинулся це-

ловашь Пушкина; он не только близко знал и любил поэта, но и читал наизусть многие из его стихов. Я между тем приглядывался, где бы умыться и хоть сколько-нибудь оправиться. Дверь во внутренние комнаты была заперта, дом не тронут. Кой-как все это пут же уладили, копошась среди отрытий вопросов: что? как? где? и пр. Вопросы большую частью не ожидали ответов. Наконец, по-маленьку прибрались; подали нам кофе, мы уселись с трубками. Беседа пошла правильнее; многое надо было хронологически рассказать, о многом расспросить друг друга. Теперь не берусь всего этого передать. Вообще, Пушкин мне показался несколько серъезнее прежнего, сохраняя, однако ж ту же веселость; может быть, самое положение его произвело на меня это впечатление. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторял, что ему еще не верится, что мы вместе. Прежняя его веселость во всем проявлялась, в каждом слове, в каждом воспоминании: им не было конца в неумолкаемой нашей болтовне. Наружно он мало переменился, оброс только бакенбардами; я нашел, что он тогда был очень похож на тот портрет, который потом видел в «Северных Цветах» и теперь, при издании его сочинений П. В. Анненков.

... Заметно было, что ему как-будто несколько насущила прежняя шумная жизнь, в которой он частенько терялся. Среди разговора, ex abrupto, он спросил меня что об нем говорят в Петербурге и в Москве... я ему ответил... что вообще читающая публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приобрели народность

в России, и, наконец, что близкие и друзья помнят и любят его, желая искренно, чтоб скорее кончилось его изгнание. Он терпеливо выслушал меня и сказал, что несколько примирялся в эти четыре месяца с новым своим бытом, вначале очень для него тягостным; что тут, хотя и невольно, отдохает от прежнего шума и волнения; с музой живет в ладу и трудится охотно и усердно. Скорбел только, что с ним нет сестры его, но что, с другой стороны, никак не согласится, чтоб она по привязанности к нему проскучала целую зиму в деревне. Хвалил своих соседей в Тригорском, хотел даже везти меня к ним, но я отговорился тем, что приехал на такое короткое время, что не успею и на него самого наглядеться. Среди всего этого было много шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной . . . Пушкин заставил меня рассказать ему о всех наших первокурсных лицах . . .

В беседе с другом, Пушкин коснулся организации будущих декабристов, но, не получив исчерпывающего ответа, сказал: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пущин, говорить. Верно, я этого доверия не стою по многим моим глупостям». «Молча я крепко расцеловал его; мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть. Вошли в нянину комнату, где собирались уже швеи. Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих впечатлений. Я невольно смотрел на него с каким-то новым чувством: оно высоко ставило его в моих глазах, и я боялся оскорбить его каким-нибудь неуместным замечанием. Впрочем, он тотчас прозрел

шаловливую мою мысль, улыбнулся значитель-но. Мне ничего больше не нужно было; я в свою очередь моргнул ему, и все было понятно без всяких слов. Среди молодой своей команда няня преважно разгуливалась с чулком в руках. Мы полюбовались работами, побалагурили и возвратились во-свояси. Настало время обеда. Алексей хлопнул пробкой, начались посты за Русь, за лицей, за отсутствующих друзей и за «нее». Незаметно полетела в потолок и другая пробка; попотчевали искрометным няню, а всех других — хозяйствкою наливкой. Все домашнее население несколько развеселилось; кругом нас стало пошумнее: праздновали наше свидание.

Я привез Пушкину в подарок «Горе от ума»; он был очень доволен этою, тогда рукописною, комедией, до того ему вовсе почти не знакомою. После обеда, за чашкою кофею, он начал читать ее вслух; но опять жалъ, что не припомню теперь метких его замечаний, которые, впрочем, потом частично явились в печати».

Разговор друзей был прерван появлением святогорского настоятеля, который, по должности «надзирающего» за поэтом, явился, прославив о приезде постороннего лица. Монах поспарался замаскировать причину своего приезда и посидев уехал. « . . . Пушкин, как ни в чем не бывало, продолжал читать комедию; я с необыкновенным удовольствием слушал его выразительное и исполненное жизни чтение, доволеный тем, что мне удалось доставить ему такое высокое наслаждение. Потом он мне прочел кой что свое, большую частью в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных

его письес; продиктовал начало из поэмы «Цыганы» для «Полярной Звезды» и просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить его за патриотические «Думы».

«Время не стояло. К несчастию вдруг запахло угаром. У меня собачье чутъе и голова не выносит угара. Тотчас же я отправился узнавать, откуда эта беда, нежданная в такую пору дня. Вышло, что няня, воображая, что я останусь погостить, велела в других комнатах запечь печи, которые с самого начала зимы не топились. Когда закрыли трубы, — хоть беги из дома. Я тотчас же распорядился, за беззаботного сына в отцовском доме: велел открыть трубы, запер на замок дверь в наполненные комнаты, притворил и нашу дверь, а форточку открыл. Все это неприятно на меня действовало не только в физическом, но и в нравственном отношении.

«Как, — подумал я, — хоть в этом не успокоить его, как не устроить так, чтоб ему, бедному поэту, было где подвигаться в зимнее ненастие. В зале был биллярд, это могло служить ему развлечением. В порыве досады я даже упрекнул няню, зачем она не велила отпаливать всего дома.

«... Между тем время шло за полночь. Нам подали закуски; на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись — в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчала расставанье, после так отрадно мелькнувшего дня. Ямщик уже запряг лошадей, — колоколец брякал у крыльца, на часах ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пились: как будто чувствовалось, что последний раз вместе пьем и пьем на вечную разлуку.

«Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин еще что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него, — он остановился на крыльце со свечой в руке. Кони рванулись под гору. Послышалось: «Прощай, друг». Ворота скрипнули за мною».

В этом отрывке воспоминаний Пушкин всплывает живой на фоне Михайловского заточения: шут и характер поэта, и более чем незатейливая обстановка зимней деревни, и няня, и весь его быт... Одна черта выделяется особенно ярко: детское в Пушкине. Бессознательно для самого себя, лицейский друг, благоговеющий перед поэтом, говорит о нем тоном старшего. В подробностях об угарных печах и в рассказе о том, как Пушкин принимал настоятеля монастыря¹⁾.

...
сквозит какая-то трогательная беспомощность, детская неприспособленность к жизни. Перед нами гений во всей ослепительности своей художественной мощи, во всей силе своего всеобъемлющего, гибкого и проницательного ума, и в то же время, во многих отношениях, «младенец сущий» с ясными улыбками, со звонким смехом, с душой чистой, незлобивой и жизнерадостной; весь светлый и солнечный. Таким он был по натуре своей и таким предстал перед лицейским товарищем и внутренне, и внешне: — «босиком, в одной рубашке», без горечи, без желчи, без озлобления, без всякого прикрытия «Чайлд-Гарольдовым плащем». В этом — «беру его в охапку и ташу

1) За величием места этот отрывок частично пропущен. См. воспоминания Н. И. Пушкина.

в комнату» — как и в целом ряде других черточек, проявляется у Пущина бережная нежность к поэту, как к ребенку. Когда читаешь воспоминания Пущина о приезде в Михайловское, мысль о трагической судьбе Пушкина всегда, неизбежно, всплывает сама собою: он должен погибнуть, потому что жизнь не даст ему этой бережной нежности — она тоже возвьмет его в «ханку» но только по-другому — жестоко и неумолимо...

Переходя от этих воспоминаний опять к письмам поэта, с невольной улыбкой прочитываешь то из них, где он рассказывает брату о своих художественных мероприятиях. Пушкин — помещик, устраивающий свою «вопчину» — это как-то не укладывается в голове: «У меня произошла перемена в министерстве: Розу Григорьевну я принужден был выгнать за непристойное поведение и слова, которых не должен был я вынести. А то бы она уморила няню, которая начала от нее худеть. Я велел Розе отдать мне счеты. Она показала мне, что за два года (1823 и 4) ей ничего не платили (?) и счищает по 200 руб. на год, итого 400 рублей. По моему счету ей следует 100 руб. Наличных денег у нее 300 руб.; из оных 100 выдам ей, а 200 перешлю в Петербург. Узнай и опиши обстоятельно, сколько положено ей благости и заплачено ли что-нибудь за эти два года? Я нарядил комитет, составленный из Василья, Архипа и старосты — велел перемерить хлеб, и открыл некоторые злоупотребления, т. е. несколько утаенных четвертей. Впрочем, она мерзавка и воровка. Покамест я принял бразды правления».

Литературная работа в Михайловском идеет очень плодотворно. Помимо стихотворений, стихотворных посланий и эпиграмм, Пушкин заканчивает «Цыган», продолжает «Онегина», начинает «Бориса Годунова» (в конце 1824 г.), но об этом своем громадном художественном замысле он до времени не сообщает никому: ни Пущину, при свиданье с ним (11 января 1825 г.), ни в письмах к друзьям. Вообще надо сказать, что Пушкин, много удаляя места в переписке произведениям своих современников, помещая в одном из писем целый разбор «Горе от ума», обсуждая отзывы критики, касающиеся Жуковского, Боратынского и др., о самом себе говорит сравнительно очень немного. Иногда встречаются упоминания небрежные, брошенные вскользь, как, например, в письме к Вяземскому, в феврале 1825 года, когда после обстоятельного разбора его стихов, о себе он замечает: «Покамест я один одинешенек; живу недорослем, валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни. Стихи не лезут. Я, кажется, писал тебе, что мои «Цыганы» никуда не годятся: не верь — я соврал. Ты будешь ими очень доволен. Онегин печатается».

Создание «Бориса Годунова» было сопряжено с большой и сложной работой не только по изучению Карамзина и других исторических источников, но и по изучению Шекспира, который открыл перед Пушкиным новые широкие горизонты и оказал на него громадное влияние во всех отношениях.

В письме к Н. Н. Раевскому он говорит: «Я не читал ни Кальдерона, ни Вегу, но что за человек Шекспир. Как ничтожен перед ним Байрон-трагик».

«Поклонение Шекспиру», говорит Анненков в своей книге—было шагом вперед для Пушкина... Новое направление значительно укоротило путь дорогу для сближения его с русским народным духом, с приемами народного творчества и мышления... Главный существенный результат шекспировского влияния состоял в том, что оно привело Пушкина к объективно-историческому способу понимания и представления эпох, людей и событий. Известно, что Шекспир был последним результатом целой школы драматургов, выявившихся в среде народных масс и передававших их поверья и рассказы, вместе с типами, которые там же встречаются. Шекспир прибавил к этому материалу свое гениальное понимание характеров, да сообщил ему такую художественную обработку, которая, обнаружив всю поэзию народного творчества, угадала и его философско-историческое значение. Все это было откровением для Пушкина. С тех пор Пушкин бросился на собирание русских песен, пословиц, на изучение русской истории, и, так как силы его находились почти в лихорадочном напряжении от сближения с Шекспиром, то он тотчас же и предался мысли осуществить все, им навеянное и указанное, и в течение одного 1825 года написал свою «Комедию о царе Борисе», которой прощался со всеми старыми своими направлениями и которой начинал совершенно новый период своего развития».

О «новом направлении» Пушкина можно уже догадываться по письму к Гнедичу. «Брат говорил мне о скором завершении вашего Гомера... Но, отдохнув после Илиады, что предпримете вы в полном цвете гения?... Я жду

от вас эпической поэмы. Тень Святослава скимается не воспетая—писали Вы мне когда-то. А Владимир? А Мстислав? А Донской? А Ермак? А Пожарский? История народа принадлежит поэту».

Кн. Вяземскому делает он, наконец, откровенное признание: «Покамест, душа моя, я предпринял такой литературный подвиг, за который ты меня расцелуешь: романтическую трагедию. Смотри—молчи же. Об этом знают очень немногие.... Передо мной моя трагедия. Не могу вытерпеть, чтобы не выписать ее заглавия: Комедия о настоящей беде Московскому Государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве. Писал раб Божий Александр сын Сергеев Пушкин в лето 7333 на городище Ворониче. «Каково?»

Что предпринятый труд захватил Пушкина целиком и временно примирил с затвором, можно догадываться из письма его к П. А. Катенину (14 сентября 1825 г.), которому он пеняет на удаление от поэзии: «... Я думал, что в своей глупости ты созидаешь; нет—ты хлопочешь и тягаешься, а между тем годы бегут. А, что хуже всего, с ними улетают и страсти и воображение. Послушайся, милый, запрись, да примись за романтическую трагедию в 18 действиях (как трагедия Софии Алексеевны)».

Н. Н. Раевскому он сообщает и о самом процессе своего творчества в пространном французском письме:

«En attendant je suis très isolé: la seule voisine que j'allais voir est partie pour Riga et je n'ai à la lettre d'autre compagnie que ma vieille bonne et ma tragédie; celle-ci avance et j'en suis content. En l'écri-

vant j'ai réfléchi sur la tragédie en général, c'est peut-être le genre le plus méconnu".

Он проводит параллель между Шекспиром и псевдоклассическими драматургами, восхищаясь свободным и широким размахом английского писателя.

«Lisez Shakespeare; il ne craint jamais de compromettre son personnage, il le fait parler avec tout l'abandon de la vie, car il est sûr en temps et en lieu de lui faire trouver le langage de son caractère.

Vous me demandez: votre tragédie est-elle une tragédie de caractère ou de costume? J'ai choisi le genre plus aisément, mais j'ai tâché de les unir tous deux. J'écris et je pense. La plupart des scènes ne demandent que du raisonnement; quand j'arrive à une scène qui demande de l'inspiration, j'attends ou je passe par dessus—cette manière de travailler m'est tout à fait nouvelle. Je sens que mon âme s'est tout à fait développée je puis créer.»*)

«Я чувствую, что мой дух достиг своего полного развития и я могу творить»—этим сознанием Пушкин сам утверждает совершившийся в нем переворот.

Перевороту этому, происшедшему в нем на двадцать седьмом году жизни, он в значительной степени обязан своему уединению, которое дало ему возможность целиком погрузиться в самого себя, в свое саморазвитие, в свое творчество и, кто знает, смог ли бы возникнуть и осуществиться во всейполноте и художественном совершенстве великий поэтический подвиг создания Бориса Годунова при иной обстановке и при иных условиях жизни Пушкина? Михайловское для

огненной, по выражению Анненкова, натуре Пушкина было, быть может, в его творчестве так же необходимо, как необходима была старцу Пимену его тихая келья, чтобы «исполнить долг, завещанный от Бога».

Об окончании Бориса Годунова он извещает Вяземского в ноябре 1825 г. «Поздравляю тебя, моя радость, с романтическою трагедией, в ней же первая персона Борис Годунов. Трагедия моя кончена. Я перечел ее вслух один и был в ладоши и кричал: ай да Пушкин, ай да!.... Юродивый мой малый презабавный; Марина тебе понравится, ибо она полъка и собою преизрядна (в роде К. О., сказывал я тебе?). Прочие также очень милы, кроме капитана Маржерета, который все скверносоловил; цензура его не пропусниши. Жуковский говориш, чи то царь меня проснинш за трагедию. Навряд, мой милый. Хотя она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого: люрчам».

Все письмо шутливое и радостное, заканчивается шутливым стихотворением «(В глухи, измучась жизнью постной...)». Оно необыкновенно типично для Пушкина, в котором мудрость гения умела сочетаться с почтой депской резвостью и шаловливостью.

Как ни велико было напряжение литературного творчества, исторических изысканий, чтения и вообще всей умственной работы, но естественную жажду жизни ничем заглушить было нельзя. Единственной возможностью общения с кульпурными людьми прежнему оставалось Тригорское. В усадьбу поэта из числа друзей его, кроме мельком появившегося Пущина, приезжал барон Дельвиг. Навестил его и кн. Горчаков, товарищ по

*) Курсы нам.

лицею, по духу далекий ему, но все же обра-
давший поэта своим вниманием а главное
тепе, что он ему «живо напомнил лицей». Дельвига Пушкин упорно звал к себе и несом-
ненно, его приезд внес большую радость в
одинокое существование поэта. «Как я рад
был баронову приезду», пишет он брату в
апреле 1825 г. «Он очень мил. Наши барышни
все в него влюбились, а он равнодушен, как
колода, любит лежать на постели»...

Пушкин имеет в виду «барышень» из Три-
горского, с которыми он щетиной пытался
ближе познакомить своего приятеля. Не только
Дельвига, но и мелькнувшего на минуту
Пущина он хотел свозить в Тригорское. С
семьей П. А. Осиповой поэт сроднился за вре-
мя жизни в деревне. Многие из биографов
Пушкина предполагают, что некоторые чер-
ты обстановки и быта Лариных он заимство-
вал из жизни своих соседей, а Евпраксия и Ан-
на Николаевны Вульф, дочери П. А. Осипо-
вой, до некоторой степени, послужили ему
прототипами Тамбянны и Ольги. Поводом для
таких предположений, несомненно, послужило
то обстоятельство, что в описание жизни
Онегина в деревне Пушкин внес кое-что чисто
автобиографическое, а внешнее положение
одинокого молодого затворника, не знающе-
гося с соседями и живущего неподалеку от
помещицы—вдовы, у которой две дочери, от-
части совпадало с отношением Онегина к
семье Лариных. Во всяком случае сравнения
этот очень давнего происхождения и современ-
ны поэту, недаром в Тригорском существова-
вал, «диван Онегина», как существовало и «ок-
но Тамбянны», как раз в комнате Е. Н. Вульф.
Только в отношениях Пушкина к семье П. А.

Осиповой не было никакой романической
подкладки и, надо думать, что параллели с
романом, которые, по всей вероятности, про-
водились еще при жизни поэта в Михайлов-
ском, были самого шуточного происхождения. Романический элемент в переживания Пуш-
кина в Тригорском внесла А. П. Керн, кото-
рая зажгла в поэте недолговечное, но яркое
чувство. Несколько у него «кружилась голо-
ва» от этой легомысленной красавицы, мож-
но видеть из его писем к ней, кипучих и спра-
сивших. Забыв «мнение света», он даже зо-
вет ее приехать к нему в Михайловское:
«...concevez-vous quel serait mon bonheur? Vous
me direz «et l'éclat et le scandale? Que diable! en
quittant un mari, le scandale est complet, le reste
n'est rien ou peu de chose».

Увлечение А. П. Керн не оставило в нем
глубокого следа, но сверкающая вспышка вы-
званных ею и возвышенного вдохновения, и
пылкого «земного чувства» внесла в его одно-
образную жизнь красочную струю.

В доме П. А. Осиповой Пушкин познакомил-
ся, а потом и сблизился с поэтом Языковым,
товарищем по Дерптскому университету А.
Н. Вульфа. В обществе их обоих, когда Язы-
ков приезжал гостить в Тригорское, поэт
проводил много времени. Все трое были мо-
лоды, и нередко выдавались такие минуты,
что кипучее веселье заставляло Пушкина забы-
вать горечь своего изгнания.

В стихах, которыми Пушкин вызывает
Языкова в свое уединение, отражается жажда
молодого и беспечного веселья:

В деревне, где Петра питомец,
Царей, цариц любимый раб
И их забыты однодомец.

Скрывался прадед мой аран,
Где, незабыв Елизаветы
И двор, и пышные обеты,
Под сенью лицовых аллей
Он лумал в охлаждении леты
О дальней Африке своей,—
Я жду тебя. Тебя со мною
Обнимет в сельском шалаше
Мой брат по крови, по душе,
Шалун, замеченный тобою;
И муз возвышенный пророк,
Наш Дельвиг все для нас оставил,
И паша тронца прославил
Изгнанья темный уголок.
Надзор обманем караульной,
Всехвален вольности дары
И нашей юности разгульной
Пробудим шумные пиры;
Вниманье дружное преклоним
Ко зволу рюмок и стихов,
И скучу зимних вечеров
Вином и песнями разгоним.

Художественное творчество, чтение, переписка с близкими, заботы о печатании и издании своих произведений, наблюдение издалика за литературной жизнью, частые посещения Тригорского и изредка свидания с приезжающими друзьями, общение с простым народом, разговоры с няней и записывание сказок и песен им услышанных; недолгое увлечение А. П. Керн и память о глубоком чувстве, унесенном в изгнание с юга; острые приступы тошки в ссылке и просто скуча однообразного одиночества, иногда прерываемая вспышками беззаботного молодого веселья; близкое общение с природой во время далеких прогулок по пешком, по верхом и длинные зимние вечера в неприхотливой обстановке глухой, занесенной снегом, усадьбы, — пакова, в общих чертах, была жизнь Пушкина в Михайловском.

Одно событие всколыхнуло ее до основания — это 14-е декабря 1825 г. Узнав о нем, Пушкин под первым впечатлением даже собрался выехать в Петербург, но вернулся с дороги. Наспали тяжелые и превозные дни. Поэт почувствовал снова всю тяжесть своей оторванности от мира. Общество было охвачено таким страхом, что нечего было и думать о свободном обмене мыслей по поводу совершившихся событий, и до Пушкина доходили лишь отрывочные известия о разгроме «мятежников», которые волновали и тревожили его, как звуки отдаленной грозы. Страдая душой за участъ своих друзей, он некоторое время и сам был не уверен в своей дальнейшей безопасности, как человек, связанный очень близкими отношениями с многими участниками декабряского восстания, но все же ссылка спасла его от излишних подозрений и, — как знать? — может быть, спасла и от худшего.

В письмах его за этот период почти не приходится искать следов происшедших событий и вызванных ими в душе поэта переживаний, потому что осторожность предписывала абсолютное молчание. Он только как бы всколыхнется осведомляясь об участии некоторых своих друзей и выражает надежду на «милость царскую»... Одновременно с этим, перемена царствования воскрешает в нем намерение попытаться избавиться от ссылки. Он пишет об этом Жуковскому и другим и, наконец, посыпает прошение на Высочайшее имя, сопровождая его подпиской никаким пакиным обществам не принадлежать и медицинским свидетельством о болезненном состоянии. Прошение он пишет в

мае и ждем благоприятного решения. Однако решение не могло состояться, пока не закончился суд над декабристами. Не без тяжелой боли узнал Пушкин о жестоком приговоре, который одного из его друзей привел на виселицу, а других бросил в «мрачные пропасти земли»... Но ему надо было это перенести в молчании...

Между тем ходатайство его, поддержанное благоприятным отзывом о нем начальника края маркиза Паулуччи, проходило по всем инстанциям и только 28-го августа Николай I положил резолюцию вызвать Пушкина в Москву. В резолюции говорилось, что «Пушкину позволяет ехать в своем экипаже свободно, под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта». Фельдъегерь помчался с необыкновенной быстротой и 4-го сентября Пушкин уже выехал в Москву.

Приезд курьера в Михайловское среди обитателей его произвел большой переполох, особенно была встревожена за участие своего питомца Арина Родионовна. По этому случаю Анненков приводит любопытный рассказ одной из обитательниц Тригорского:

«1-го или 2-го сентября (должно быть, 3-го сентября) Пушкин много и весело гулял у них и часу в 11-м вечера отправился домой, в Михайловское, провожаемый до дороги, по обыкновению, молодым женским поколением семьи. На другой день оно было разбужено еще до рассвета прибытием в Тригорское няни Пушкина, Арины Родионовны, с поразительным известием. Какой-то человек, не то солдат, не то офицер (это был посланный Адеркаса), прискакавший в Михайловское под вечер, увез с собой Пушкина тотчас, как

он явился домой и притом так заторопил его, что Александр Сергеевич успел только накинуть на себя шинель и захватить деньги. Посланный ничего не осматривал в деревне, ничего не ворошил, нигде не рылся. «По опье-езде его с барином», — говорила няня, — «я уже сама кой-что уничтожила». — «Что такое?» — «Да вот этот сыр проклятый, от которого так скверно пахнет...»

Получив от Николая полное прощение и право жительства в обеих столицах, Пушкин осенью того же 1826 года опять, но уже на этот раз добровольно, отправился в свой родной уголок. Вот его письмо к Вяземскому из Михайловского от 9-го ноября:

«Вот я в деревне. Доехал благополучно без всяких замечательных пассажей; самый не- приятный анекдот было то, что сломались у меня колеса, распаянные в Москве другом и благоприятелем моим г. Соболевским. Деревня мне пришла как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвращаться вольным в покинутую тюрьму. Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча моей дворни, хамов и моей няни — ей Богу, прияпнее щекотит сердце, чем слава, наслаждения самолюбия, рассеянность и проч. Няня моя уморительна. Вообрази, что 70-ти лет она выучила наизусть новую молитву о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости, молитву, вероятно, сочиненную при царе Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом».

Интересно мимоходом сделанное в этом же письме замечание о впечатлении, кото-

рое произвела на Пушкина Москва. Казалось бы, измученный оторванностью от общества в течение двух лет, он должен был радостно окунуться в шумную жизнь старой русской столицы, оживленной приездом дворца по случаю коронации, а между тем с пера его срывается такое признание: «Милый мой, Москва оставила во мне неприятное впечатление, но все-таки лучше с вами видеться, чем переписываться».

С освобождением из Михайловского кончилась ссылка Пушкина, началась его свободная жизнь, но в смысле внутреннем, в смысле возможности располагать своим духовным миром, своими досугами, два года этой Псковской ссылки, в сравнении с его дальнейшей жизнью, были едва ли не самыми свободными. Там его гений принадлежал ему всецело и он всецело принадлежал своему гению. В последующие годы Пушкин несколько раз навещал свой Псковский уголок.

Он приезжает туда в конце июля 1827 года и живет до сентября. По письму его к Дельвигу видно, что старушка няня поэта еще жива. Затем он навещает Михайловское в 1829 г. (письма от этой поездки не сохранилось). Памятью этого приезда осталось стихотворение «Зима. Что делать нам в деревне». В 1835 г. 6-го мая он уезжает в Тригорское и возвращается оттуда 15-го¹).

В сентябре того же года он опять в родных краях и из Тригорского пишет А. И. Беклевшовой (которая ему в период его ссылки очень нравилась): «Я пишу к вам, а наискуснее от меня сидите вы сами в образе Марии Ивановны²».

1) Н. Лернер. Труды и дни Пушкина.

2) Дочери Ц. А. Осиповой от второго брака.

«Вы не поверите, как она напоминает мне прежнее время и наши путешествия в Опочку и прочее». Жене он пишет: (Михайловское 14 сентября) «...Писать не начинал и не знаю, когда начну... Жаль мне, что я тебе с собою не взял. Что у нас за погода! вот уж три дня, как я только что гуляю по пешком, по верхом. Этак я и осень мою прогуляю, и коли Бог не пошлет нам порядочных морозов, то возвращусь к тебе, не сделав ничего. Прав сковы Александровны еще здесь нет...»

Природа в родном уголке все та же, ясна и хороша осень, которую так любил Пушкин, он давно уже не изгнаник, но свободы и легкости на душе у него меньше прежнего... «Жена моя, вот и 21-е, а я от тебя еще ни строчки не получил. Это меня беспокоит по неволе, хотя я знаю, что ты мой адрес, вероятно, узнала не прежде, как 17-го в Павловске... Однако я все беспокоюсь и ничего не пишу, а время идет. Ты не можешь вообразить, как живо работает воображение, когда сидим одни между четырех стен, или ходим по лесам, когда никто не мешает нам думать, думать до того, что голова закручивается. А о чём я думаю? Вот о чём: чем нам жить будет? Отец не оставил мне имения; он его уже с половину промотал, ваше имение на волоске от погибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики ни в журналисты. Писать книги для денег, видит Бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30.000. Все держится на мне да на тетке. Но ни я, ни тетка не вечны. Что из этого будет, Бог знает. Покамест грустно.» Печальные размышления поэта дальше заслоняют рассказом о своей

жизни в деревне, о посещении Тригорского, которое ему попрежнему дорого и близко: «Сегодня погода пасмурная. Осень начинается. Авось засяду. Жду Пр. Ал., которая, вероятно, будеши сегодня в Тригорское. Я много хожу, много езжу верхом на клячах, которые очень тому рады, ибо им за то дают овес, к которому они не привыкли. Ем я печеный картофель, как маймист, и яйца в смятку как Людовик XVIII. Вот мой обед. Ложусь в 9 часов, встаю в 7».

Грустью веет и от другого письма, написанного через четыре дня после предыдущего (25 сент. в Тригорском). Оно начинается с обычного беспокойства за жену и семью, от которых все нет известий. «... Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки, а все потому, что не спокоен. В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уже в нем няни моей, и что около знакомых старых сосен поднялась во время моего отсутствия молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу. Но делать нечего; все кругом меня говорят, что я старею, — иногда даже чистым русским языком. Например, вчера мне встретилась знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменилась. А она мне: да и ты, мой кормилец, состарелся, да и подурнел. Хотя могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был... Что ты делаешь, моя красавица, в моем отсутствии? расскажи, что тебя занимает, куда ты ездишь, какие есть новые сплетни etc... В Тригорском стало простор-

нее, Евпраксия Николаевна и Александра Ивановна замужем, но Праск. Александр. все также и я очень люблю ее. Веду себя скромно и порядочно. Гуляю пешком и верхом, читаю романы В.-Скотта, от которых в восхищении, да охаю о тебе».

Эта поездка в Михайловское для осенней работы в уединении, Пушкину, в смысле продуктивности творчества, не удалась. Плещневу (11-го октября) он жалуется: «В ноябре я бы рад явиться к вам, тем более, что такой бесплодной осени отроду мне не въдавалось. Пишу — через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен¹⁾.

В октябре Пушкин уже возвращается из деревни. Последняя его поездка в Михайловское состоялась неожиданно — он въехал туда 8-го апреля 1836 г. по случаю похорон своей матери и пробыл очень недолго, но в эту пору написано им Языкову письмо (14 апр.), полное теплых воспоминаний о прошлом: «Отгадайте, откуда пишу к вам, мой любезный Николай Михайлович? Из той стороны,

где вольные живали вы,

где ровно тому десять лет пировали мы в троем — вы, Вульф и я, где звучали ваши стихи и бокалы с Еммой, где теперь вспоминаем мы вас — и старину. Поклон вам от холмов Михайловского, от сеней Тригорского, от волн голубкой Сиротки, от Евпраксии Николаевны, некогда полувоздушной девы, ныне — лебелой жены, в пятый раз уже брюхатой и у которой я в гостях, поклон вам от всего и от всех, вам преданных сердцем и памятью,

1) Курсив наш.
Гаррис. Уголок Пушкина.

«Алексей Вульф здесь же, описавной спутник и гусар, усатый агроном, тверской Ловлас, но уже перешагнувший за тридцатый год. Пребывание мое в Пскове не так шумно и весело ныне, как во время моего запечения, во дни, как царствовал Александр; но оно так живо мне вас напомнило, что я не мог не написать вам несколько слов в ожидании, что и вы отклинетесь».

В эпом письме Пушкин восстанавливает прошлое своей ссылки с таким чувством, которое могут вызвать только лучшие годы жизни. Так не вспоминаюши порому. И он, сам того не подозревая, перебирая прошедшее, прощался не только с ним, но и с самим Псковским уголком навсегда...

Живым поэту не суждено было туда вернуться.

Менее, чем через год родные края приняли только прах Пушкина, его тело, отправленное для погребения в Святогорский монастырь.

6 февраля, в субботу, 1837 года привезены были в Святые Горы останки Пушкина и опущены в могилу около древнего собора на высокой Синичьей горе. Никто из близких не провожал его к месту последнего успокоения, кроме А. И. Тургенева, который коротко сообщил об эпом кн. П. А. Вяземскому: «7-го февраля, воскресенье 5-й час утра. Псков. Мы предали земле земное вчера на рассвете. Я провел около супок в Тригорском у вдовы Осиповой, где искренно оплакиваю поэта и человека в Пушкине. Милая дочь хозяйки показала мне домик и сад поэта. Я говорил с его дворнею... Везу вам сырой земли, сухих ветвей и только... нет, и несколько неизвестных вам стихов Пушкина».

Как известно, по приказу свыше, Пушкина хоронили поспешно и таинственно. Ночью вывезли тело из Петербурга, почти ночью зарыли в могилу. Его гроб сопровождал жандарм. Мертвого поэта везли, как живого преступника...

Е. Опочинин приводит в своем очерке о Михайловском текст любопытного документа, хранившегося в монастырском архиве Святых Гор *).

«№ 7. Получ. 5 февраля 1837 г.

Опочецкого уезда, Святогорского монастыря, архимандриту Геннадию.

Ордеръ.

Его сиятельство г. синодальный оберъ-прокуроръ Николай Александрович Протасовъ сообщаетъ мпѣ, что по прозбе вдовы скончавшагося въ С.-Петербургѣ 29 минувшаго января, въ званіи камеръ-юнкера Двора Его Императорскаго Величества Александра Сергеевича Пушкина разрѣшено перевести тѣло его Псковской губерніи въ монастырь Святой Горы, для преданія тамъ земли, согласно желанию покойнаго.

Съ сим вмѣстѣ г. гражданскій губернаторъ извѣщаетъ меня о семъ предметѣ присовокупляя Высочайшую Государя Императора волю, чтобы при семъ случаѣ, не было никакого особыливаго изъявления, никакой встрѣчи, словомъ никакой церемоніи, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребеніи тѣла дворянинъ. Также его превосходительство увѣдомляетъ меня, что отпѣваніе тѣла совершено уже въ С.-Петербургѣ.

Преданіе тѣла покойнаго г. Пушкина въ Святогорскомъ монастырѣ предписываютъ вамъ исполнить

*.) Приводится съ сохранениемъ правописания.

согласно воли Его Императорского Величества Государя Императора.

Подпись: Нафанапль А. Псковский».

В связи с похоронами поэта возникло целое дело «предписаний», «отношений» и «рапортов». С «протоколом» положили его в гроб, с «протоколом» опустили в могилу и «протоколом» закончили «церемонию»:

«Рапорт оспровского исправника Бородина псковскому губернатору 9 февраля 1837 года, за № 3.

Секретно.

Во исполненіе предписанія вашего превосходительства от 4 сего февраля за № 557, донести честь имѣю, что тѣло умершаго въ С.-Петербургѣ камеръ-юнкера Александра Пушкина черезъ сей уѣздъ 5 числа и 6 по утру, весьма рано командинированы мною состоящим при занятіи дѣламп въ земском судѣ поручикомъ Филипповичем превозведено въ Опочецкой уѣзъ, въ находящійся близъ имѣнія отца покойнаго Пушкина Свято-Горскій монастырь и предано по обряду христіанскому землѣ.

Подписан: земской исправникъ Бородинъ».

Кажется, после кончинѣ Пушкина, административной переписки было больше, нежели литературных некрологов...

Мысленно пробежав жизнь Пушкина, неизъя без трепета вступить на «святую землю» Псковского уголка. Всякий, побывавший там, вероятно испытал это чувство и унес в своей душе благоговейные воспоминания.

Эти воспоминания передаю и я в том виде, как они были записаны мною после моей последней поездки в 1914 году.

II.

Приветствуя тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, труда и вдохновенья.

В нескольких десятках верст от железнодороги, на заросших лесом холмах, расположены, неподалеку друг от друга, Михайловское, Тригорское и Святые Горы.

Глушь страшная: лесное царство, озера да сосны и пишина, пишина ненарушимая—вот каков он, «удел поэта». Он спал еще глушше и заброшеннее за несколько прошедших десятилетий, потому что опустели усадьбы, ушла из них жизнь. Кажется, что не доберешься и не доедешь. Да и редко, кто ездил, мало пробирались сюда.

После шумных торжеств «столетнего юбилея», когда здесь разевались флаги, венки, гирлянды, говорились речи и гудела с разных сторон нахлынувшая толпа,—опять погрузился Пушкинский уголок в молчание и забвение. Приезжие больше все направлялись в монастырь на богоявление, а Михайловское, или, по здешнему, «Зуёвку», «Зуёво» почти и не спрашивали совсем...

Это одиночество Пушкинского уголка поразило меня еще в первый мой приезд туда

в 1911 году. Почувствовалось оно уже с Пскова, где никто мне толком не мог объяснить, далеко или близко Михайловское от г. Острова и как туда удобнее добраться. В Опочку дорогу знали, а к Пушкину — затруднялись — не требовалось никому осведомляться. До Святых Гор довезли меня почтовые лошади по тракту, а от монастыря в Михайловское и Тригорское подводчики — крестьяне, не сразу согласившиеся ехать и глядевшие несколько недоумевающе. Самое же большое удивление, вернее, полный переполох, произвело мое появление в Михайловском, где помещалась тогда пресловутая «колония для престарелых литераторов». Как сейчас все это помню. Осеню тогда спояла теплая, ясная. Любимое время года Пушкина, им воспетое:

Унылая пора, очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье.
В багрец и золото одетые леса...

В «багрец и золото» одеты были Михайловские рощи и старый парк Тригорского, солнце уже клонилось к закату. На дребезжащей тележке въехала я в усадьбу поэта. Лошадь остановилась — никого нет, только где-то вдалеке заляла собака. Возница мой с удивлением и каким-то недоверием оглядывал и меня и усадьбу, и ясно было, что поездка наша казалась ему бессмысленной западей.

— Вишь, никого тут нет... Обождать, что ли? Может, назад поедете? Там при монастыре все-таки гостиница...

Но ждать особенно долго не пришлось, потому, что из одного флигеля вышли две ста-

рушки и, не доходя до нас, остановились, совершенно ошеломленные и испуганные.

Я сейчас же стала им объяснять причину своего приезда, но это их не успокоило и не удовлетворило.

— Вы из Москвы? Сюда?..

Они глядели на меня очень подозрительно, и потом одна из них начала с раздражением говорить о том, что уже скоро вечер и ночевать мне тут негде, и что им ничего неизвестно о дозволенности таких посторонних посещений вообще, и что управляющий уехал в Опочку и что все это странно, необычно, и они не знают, как им со мной поступить...

Отпор мне был сразу дан очень решительный. Что было делать? Меня осенило:

— Да ведь здесь помещается колония престарелых литераторов... Может быть, вы укажете мне, как туда пройти и с кем переговорить?.. Не может же быть, чтобы в усадьбу Пушкина, где есть музей и вообще всякие учреждения, нельзя было приехать хотя бы на сутки... У меня есть корреспондентский билет от редакции газеты, во всяком случае в колонии мне не откажут... Наконец, где же заведующий музеем?.. Старушка, недовольная моей настойчивостью, не дала мне договориться...

— Мы и есть колония... И никаких заведующих здесь нет, а земский начальник Карпов живет у себя в имени. Помилуйте, мы люди больные и вдруг приезжает чужой человек да еще к ночи... — Нас здесь всего пятько трое, а прислуга живет на другом конце усадьбы...

Обитательница Михайловского очень вол-

новалась, спутница ее упорно молчала и смотрела на меня, как на выходца с того света...

Мне оставалось только рептироваться, пока не стемнело, и искальп приюта в Тригорском, а с утра попытаться снова познакомиться с усадьбой поэта. Возница мой подвязал повод и встряхнул сено на тележке...

— Садитесь что-ль... Говорил я, никто сюды не ездит, потому не по что... А земский он тут, известно, старший... Так бы и говорили, что к земскому...

Мужичек был очень недоволен. Мое положение было глупое и досадное. Вот после этого и езди на поклонение «святым местам», — думала я, укладывая обратно в упаковку экипажик свой дорожный мешок.

Но в этот момент моя суровая собеседница неожиданно смягчилась. Тронула ли ее моя покорность и готовность к отступлению, или, оглядев меня хорошенько, она точно убедилась, что меня привели в эту глушь отнюдь не коварные намерения, а нечто другое, — только она вдруг изменила тон:

— Да уж если приехали, не возвращаться же вам обратно. Как-нибудь мы вас поместим переночевать.

Оказалось, что помещения не только для меня, но и для десяти человек достало бы без всяких затруднений, но, как выяснилось потом, старушка, сполна горячо защищавшая «подступ» к Михайловскому, по своему была права.

«Колония для литераторов», «музей» — на расстоянии все это звучало очень внушительно, но на деле оказалось, что, несмотря на прекрасное оборудование помещения и других приспособлений для колонии, таковой в

сущности и не было. Из «литераторов» в Михайловском жила одна только В. В. Починковская, бывшая когда-то секретарем редакции в «Гражданине» у Достоевского. Нужда привела ее сюда. Две другие обитательницы никак, казалось бы, не могли быть связаны с колонией имени Пушкина. Одна из них, некая Ланская, попала в Михайловское по странному «свойству» с поэтом: она носила фамилию второго мужа Н. Н. Гончаровой, приходилась ему родственницей и отсюда кто-то сделал вывод, что ее, как родственницу поэта, нужно поместить в его усадьбе. Конечно, старушка эта никому не мешала, ни у кого не отнимала места¹), но странно было семью Ланских, недоброжелательно относившуюся к Пушкину, как-то соединять с его памятью.

Третья старушка была просто какая-то богаделка, которую «присстроил» в Михайловском его распорядитель, все тот же земский начальник Карпов, вообще не стеснявшийся хранить в исторической усадьбе и пользовавшийся ею иногда как дачей для своих знакомых...

В. В. Починковская тогда же объяснила мне, что никакой организации в Михайловском нет. Членам колонии дается стол и помещение и этим все и ограничивается. Колония была открыта за год перед тем²) и за это время никто из почитателей Пушкина не приезжал, ответственное лицо по усадьбе в ней не живет, и поэтому неудивительно, что старушки, заброшенные и забытые в глухи, были напуганы моим появлением, не зная, имеют

1) Она вскоре скончалась: в мае 1914 г., но второй мой приезд в уголок Пушкина.

2) В 1910 г.

ли они какое-нибудь право допускать посторонних посетителей, так как самая возможность одиночных паломничеств в имение поэта, видимо, никак не предусматривалась.

Вообще, оторванность этого местечка от мира полнейшая. Жизнь идет, не задевая его никак, не тревожа снов прошлого. Это касается не только усадьбы поэта, которая, пожалуй, чувствительнее всего пострадала от «забот», но и многих уголков Псковской губернии, которые хранят память о далеких, минувших временах. Там кое-где еще можно встретить почти что древне-славянские обороты речи, там иногда по Псковскому озеру плавают не лодки, а «ладви» с высокими загнутыми носами, точно оспались они от тех времен, когда ездили на них по «Ильмень-озеру» «Садко-богатый гость»; там целы братские могилы и попадаются «клады»; там крестьянин, распахивая землю или разрывая на охоте барсучью нору, без особого удивления вынимает из земли древний тяжелый наплечный крест или позеленевший медный складень...

Там в самом Пскове, или по-летописному «Плескове-граде», в обросших травой и кустиками спинах, сложенных из дикого «плитняка», которые высоко поднимает древний «Депинец» над красавицей Великой с ее голубыми песчаными берегами, до сих пор еще не тронутые сидят ядра и пули, «короля Баттура». Неудивительно, что, приехав в Пушкинский уголок вторично, в 1914 году, я не нашла там почти никаких перемен, только природа была радостно весенняя: стоял май и огромный фруктовый сад Михайловского благоухал и белел ослепительно, весь в цвету.

Путь к Пушкину был довольно сложен, а для человека, непривыкшего к езде на перекладных, показался бы, пожалуй, утомительным. От уездного города Острова до почтовой станции Новгородки и дальше на Опочку ходили дилижансы, огромные, нескладные и пряжские, и автобусы, с неизвестно дребезжащими стеклами, а в 1914 году появились даже и автомобили, но эти усовершенствования не коснулись самого Пушкинского угла: от Новгородки до Святых Гор не было иного сообщения, кроме почтовых, да, пожалуй, и неизвестно было бы видеть там «машину», пыхтящую дымом,—она бы нарушила весь общий стиль.

Почтовая шарамайка, почтовые станции Николаевских времен, где недолго перед тем смотрели стали именоваться старостами и где на стенах «комнат для приезжающих» висят в застекленных рамках желтевые листы с распределением скорости езды для фельдъегерей, для едущих по своей и по казенной надобности,— все это гораздо больше гармонирует с тем впечатлением, которое производит на каждого паломника Пушкинский уголок. Когда вы приезжаете на станцию, кажется, будто ничего не изменилось: и парная тележка с рогожным кульком на сиденьи, и станционная книга для записывания имен проезжающих, и получение прогонных и все тот же крик «лошадей». Неужели со времени Пушкина миновало уже почти целое столетие?..

Как странно... И как хорошо в то же самое время, что именно здесь многое осталось по-прежнему, и что еще за двадцать с лишком лет от Михайловского споит маленькая

почтовая станция и нет шумного железнодорожного вокзала, нет дачных поселков, кинематографов . . . что праздно прогуливающаяся публика не разбрасывает бумажки от конфет на границе

„Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями.

что не пришла сюда жизнь, не пришла и поэзия...

Не умеем мы искусственно устраивать музеи бытия и хранить их, но за то наша отсталость, наша первобытность русская, неподвижность наша создают у нас «музеи естественные». От Новгородки и дальше и начинается такой «музей». Никто его не организовывал, никто над ним не думал, оттого иллюзия старины так полна и свежа. Прошлое сохранилось здесь в такой же почти нетронутости, как сохраняются в нераскопанных курганах Воронича какие-нибудь «мечи-кладенцы»: никому до них не было дела...

При повороте от Новгородки к Святым Горам пейзаж резко меняется. Вместо равнин—холмы; песчаная дорога вьется по ним золотистой лентой и далеко вокруг открывается горизонт: то поля, покрытые молодой зеленою рожью, то сбегающий по склонам лес. Простор, тишина, нарушаемая лишь стуком колес тарантайки.

Так и кажется, что все это зеленое пространство, заколдованное, дремлет с давних пор и во сне видит оно, как по этой же самой дороге присланый по «Высочайшему повелению» курьер мчал опалового поэта к царю в Москву, а там, за холмами и лесом, пере-

пуганная спарушка, вся трепеща за участие своего любимого питомца, читала молитву «о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости» или как потом, несколько лет спустя, опять в сопровождении «казенного человека»—жандарма, быстро скачущая тройка по снежным ухабам везла безымянное тело на место последнего упокоения...

Верст за восемь уже виден высокий шпиль Святогорской колокольни, а налево от дороги на трех горах—Вороничи и Тригорское; еще дальше густой лес скрывает усадьбу поэта.

Холмы становятся выше и круче. Около дороги попадаются озера. Подъем к селу Святые Горы очень высок; колеса вязнут в мелком лесном песке, лошади с трудом тянут, затем показываются улицы, напоминающие уездный городок. Тележка, несколько раз обогнув гору, подъезжает к монастырю, против которого стоит небольшое деревянное здание—богадельня и народная читальня в память Пушкина.

Монастырь необыкновенно красив. Он расположен на высокой горе: домики монастырские лепятся по ее склонам, а на самой вершине белый древний собор, построенный, по преданию, еще ки. Андреем Богословским.

От ворот, у которых стоит недавно построенный белый каменный дом гостиницы, подымается вверх величественная лестница. Она сооружена в давние времена из огромных непесанных диких камней на подобие «циклических» построек, по обеим сторонам ее, вместо перил, стены по аршину толщиной, покрытые каждой песчаной крышей «домиком»; песчанел, весь зарос мохом; над лестницей низко и густо сплетаются

липы, и так, под зеленым шатром, не проникающим солнечных лучей, поднимаясь въ на вершину Синичьей горы к собору. Около него, против алтаря, бетонная площадка тоже окруженнная липами и кленами. Деревья старые, могучие; они тесным рядом стоят у самого ската горы, над крутым обрывом. Почти по краю этого обрыва идет, окаймляя площадку, красивая мраморная балюстрада.

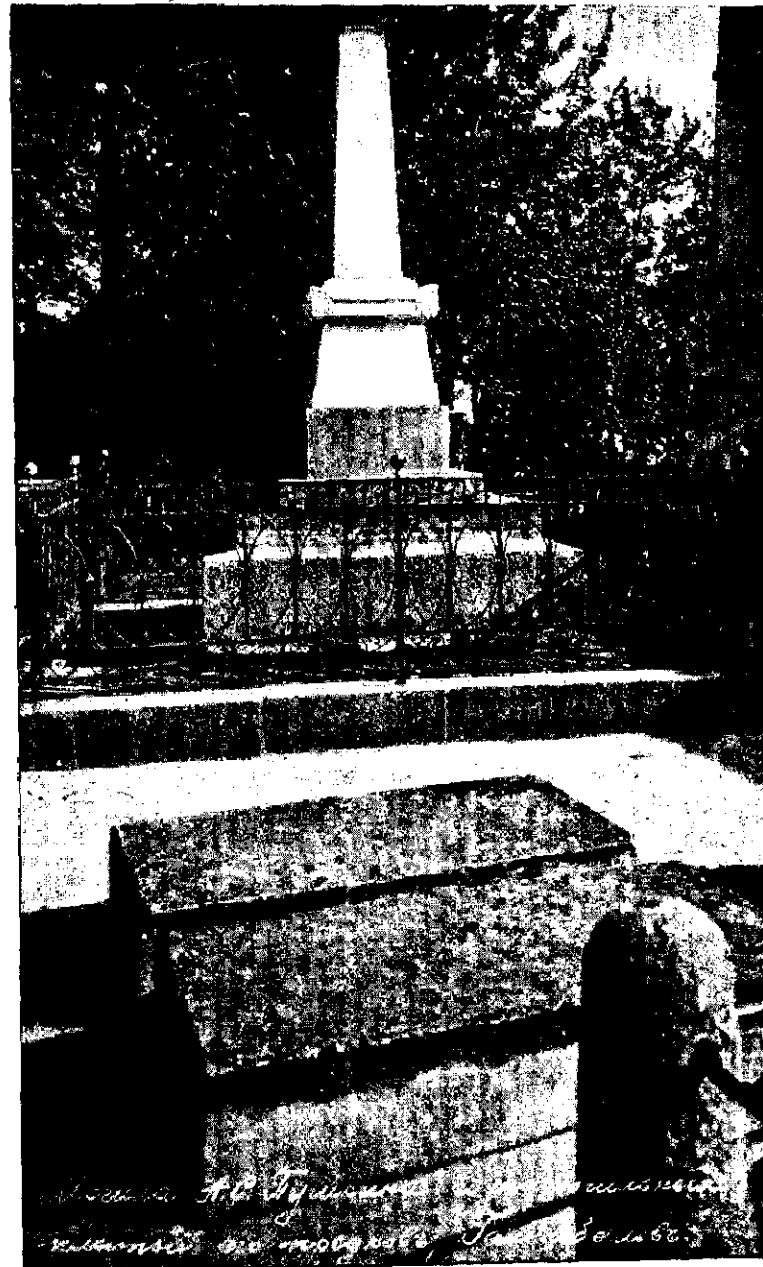
Из бетона выступают плоские темно-серые каменные плиты с полусвертывающимися и местами позеленевшими надписями—это надгробия Ганнибалов—предков поэта. Ближе к алтарю, обнесенный металлической решеткой, белый мраморный обелиск с урной в нише... К нему нельзя подойти без волнения...

На кладбище пихо, пихо. Стрекочут воробы на деревьях, да прошлогодний лист шумит под ногами. Солнце, яркое и радостное, переливается на позолоте барельефного креста.

Ни угрюмого покоя, ни мрачности. Общее кладбище в стороне, а здесь, на этой высокой горе, под солнцем, как будто нет и не было смерти. Далеко открывается отсюда вид на простор полей, вьющаяся внизу сверкающая речка в кудрявых берегах, дикии в пестрых рубашонках цветущими пятнышками прилепились среди зелени с удочками...

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Мрамор памятника в некоторых местах уже покрыт трещинами; у цоколя кое-где пробивается трава, цветов нет.



Могила А. С. Пушкина и памятные плиты его предков, Ганнибалов.

Приезжал ли кто-нибудь сюда, когда исполнилось семидесятилетие со дня кончины Александра Сергеевича Пушкина? — спрашиваю у монаха.

— Как же, и обедня была и панихида на могиле, а приезжал ли становой с исправником да попечитель, прочих не было из приезжих». —

Местный Пушкинский Комитет состоял почти целиком из гнуземной администрации под председательством земского начальника Карпова. Из частных лиц в него входили два лавочника из Святых Гор, которые, наряду с мануфактурой, галантереей и бакалеей, торговали еще и плохими открытиками с видами Пушкинского уголка.

Земский начальник в качестве «пушкинианца по назначению» вел себя на своем историко-литературном посту довольно непринужденно. Непоправимые следы его «забот» бросились мне в глаза тут же на кладбище, при первом взгляде на могилу Пушкина: между памятником поэта и надмогильными плитами Ганнибаллов стоит памятник, вызывающий полное недоумение своей надписью:

«Ю.я. Скончалась в 1911 году».

Спрашиваю:

— Кто же здесь похоронен и почему именно здесь?

— А это земского начальника родня, барышня померла, отвечает монах.

«Юня» оказалась сопричисленной к роду Пушкиных и Ганнибалов... Кто знает, какими памятниками и какими надписями будет украшена надмогильная площадка поэта еще через несколько лет. Видно такова уж была судьба русского гения, что ему не уйти было

из-под надзора «властей предержащих»: при жизни им ведали Бенкендорф и III отделение, его тело хоронил жандарм, его могилой и усадьбой распоряжался земский начальник... Кто же ведает этой могилой теперь? Об этом мы не знаем и не слышим ничего.

Но как ни грустна мысль об этой заброшенности могилы поэта, хорошо все же, что его прах покоятся не на городском кладбище, а в старом монастыре, на просторе нетронутой природы.

Здесь не тревожат его вечный сон шум и суматоха большого города, здесь только птицы поют и шепчутся липы, да черемуха весной освещает на белый мрамор памятника белые лепестки своих душистых кистей.

Отсюда видна дорога в его любимые места — Михайловское и Тригорское; с ним покоятся его предки. Исполнено его желание:

И где мне смерть пошлет судьбина
В буй ли, в странствии, в волнах,
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу —
Мне все-б хотелось почивать.

Из Святых Гор до Тригорского дорога идет проселком верст пять или шесть. Усадьба, расположенная на горе, видна издалека. Рядом две церкви села Вороничи и Городище.

Местами заметно, что здешние холмы частично образовались искусственным путем — это остатки земляных насыпей давно исчезнувшего города-крепости, который стоял

здесь очень давно, может быть, в эпоху войны с Ливонией, а, может быть, еще раньше.

В первый мой приезд мне пришлось слышать, что крестьяне при распашке земли в нескольких местах нашли здесь остатки стариинного вооружения; кажется, приезжал сюда даже какой-то археолог из Петербурга, собиравшийся исследовать местность и производить раскопки, но чем все это кончилось — неизвестно.

Местные жители, то ли по преданию от дедов и прадедов, то ли из разговоров проезжих, толкуют о старом городе, и ямщик, обводя кнутовищем широкую линию на горизонте, сообщает мне:

— Сказывают, на этих местах в старину стоял город Воронец... Конца-краю ему не было. Где теперь Михайловское и Святые Горы — везде город был, а нынче вот лесом все заросло, ничего не узнаешь...

Между Вороничами и Тригорским дорога идет по узкому ущелью; двоим встречным разъехаться совершенно невозможно. Она спиралью огибает холмы, поднимаясь все выше и выше.

Вот и усадьба П. А. Осиповой, обращаясь к которой поэт говорил:

Быть может, уж недолго мне
В изгнанье мирном оставаться,
Вздыхать о милой старине
И сельской музее в тишине
Душой беспечной предаваться.
Но и вдали, в краю чужом,
Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом
В лугах, у речки, над холмом,
В саду, под сенью лил домашней.
Когда померкнет ясный день,

Одна из глубины могильной
Так иногда в родную сень
Летит тоскующая тень
На милых бросить взор умильный.

Старый дом, бросающийся в глаза своей необычной архитектурой (он переделан из здания, предназначавшегося для ткацкой фабрики, после того, как первый дом сгорел), приземистый, длинный, в один этаж, обшированный некрашеным тесом стоит весь в зелени. Справа от него небольшой фруктовый сад, слева продолговатый узкий пруд, на прозрачной поверхности которого отражаются белые рамы окон с кисейными занавесками; путь же около пруда начинается и парк. В доме снаружи перестроена только одна терраса: возобновлены колонны, вернее говоря, просто поставлены новые столбы из обывавших бревен, на место прежних подгнивших, подведен новый фундамент, сделана новая решетка; другая терраса сохранилась без изменений от Пушкинских времен, только входная дверь, находившаяся прежде посередине, теперь сделана сбоку, с левой стороны. Ветхая деревянная решетка между колоннами покрепела, пошатнулась, едва держится.

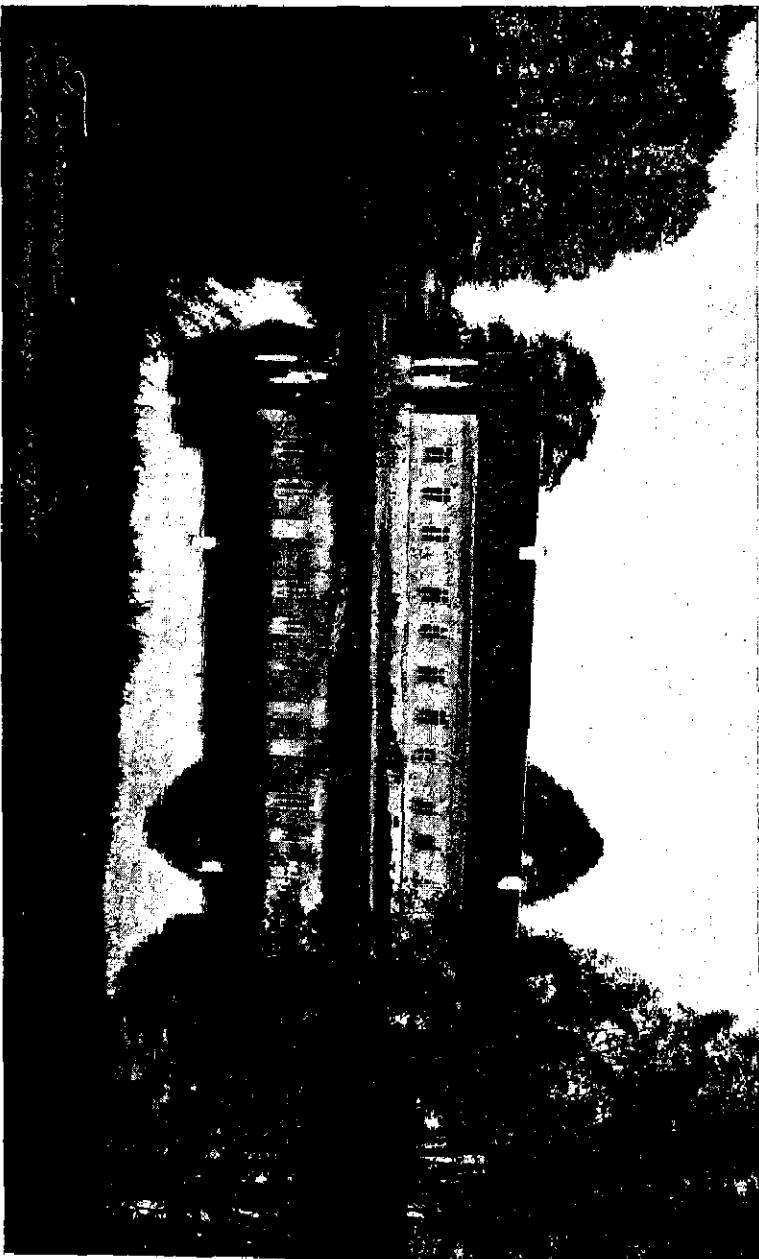
Поэт Н. М. Языков когда-то воспел эти места. В его милых стихах многою юной восторженности, но общая картина (кроме красоты дома) верна.

И три горы и дом красивый,
И светлой Сирота извины
Златого месяца в огне,
И там у берега тень ивы...
И те отлогости, те нивы
Из-за которых вдалеке
На вороном аргамаке,
Заморской шляпою покрытый,

Спеша в Тригорское, один—
Вольтер и Гете и Расин—
Являлся Пушкин знаменитый.

Столь распространенные в русских усадьбах деревянные дома—ненадежные памятники прошлого. В нашем сыром климате они сравнительно быстро разрушаются, им грозят пожары и, казалось бы, нельзя не пожалеть, что не каменные здания хранят ту или иную дорогую для нас память. И все же не жалеешь об этом: в деревянном доме, помимо его особой, чисто архитектурно-художественной прелести, всегда есть что-то живое. Холодный камень не принимает и не хранит прикосновений жизни, тогда как и тесовые обшивки, и бревенчатые стены, и деревянные балконы и кривые кривые—точно насквозь пропитываются духом прошлого и излучают его теплоту, теплоту воспоминаний. Деревянный дом уже потому живой, что он и стареется, как человек. Когда смотришь на покосившиеся окна, на кривые ступени, на изрытый дождями тес или на потемневшие рубцы и царапины на колоннах, на дверных и оконных косяках, то так и кажется иногда, что перед вами глубокий, много переживший старец со своими морщинами, древний, мудрый, согнувшийся под тяжестью своих лет, но такой ласковый и чуткий, который все замечает, все помнит и много вам расскажет, а не замкнется в холодном и мертвом молчании.

Таким живым старцем казался и дом в Тригорском. Он не склонен по архитектуре, но в нем была своя прелест какого-то особенной приветливости, патриархального гостеприимства, без чопорности, без претензий.



Тригорское. Дом со стороны пруда.

Точно дух прежних обитателей положил на него свою печать, и думалось: да, таким именно должен быть дом П. А. Осиповой—простой, но просторный и светлый, в нем без смущения можно было войти, и в нем ласково встречали—без торжественности, без церемоний—теплой, участливой улыбкой, и приезжий чувствовал себя легко и непринужденно, вступая на незапятнанный балкон.

Тригорское в последний период принадлежало баронессе С. Б. Вревской, дочери Евпраксии Николаевны Вульф, и родной внучке П. А. Осиповой. Владелица все время жила в другом имении и лишь около 1913-го года переселилась в эту усадьбу, которая с 1884 года сдана была в аренду М. И. Пальмову.

Арендатор получил имение в том виде, в каком оно оставалось еще после покойного А. Н. Вульфа, он знал младших дочерей П. А. Осиповой, особенно был дружен с М. И. Осиновой, и со старым домом к нему перешли и некоторые семейные предания о поэте и его любовь к нему, которой дышал весь дом Тригорского. М. И. Пальмов,—седой старик, живой и энергичный, казался не столько сельским хозяином, сколько добровольным хранителем «музея». Все, что связано с именем Пушкина, было для него бесконечно дорого, и справедливость требует заметить, что арендатор больше прежних хозяев заботился о поддержании следов прошлого в Тригорском, заботился, конечно, насколько мог. Он в этом случае являлся тем человеком со стороны, который несомненно сильнее и ярче чувствовал все историческое значение усадьбы, нежели ее коренные жители, которые с ней освоились, освоились со всей обстановкой, и

к своим вещам относились без всякого особенного благоговения. Если бы Пушкин один раз был в Тригорском, возможно, что в память этого посещения было бы его владельцами выделено какое-нибудь кресло, на котором он сидел, или столик, на котором он написал стихи в альбом. Но в том-то и дело, что он там был свой человек, он почти что жил в Тригорском и как при нем представлялась из комнаты в комнату и ремонтировалась мебель, так это продолжалось и после него. Легко хранить какуюнибудь одну достопримечательность, но жить в музее, где все достопримечательно и неприкосновенно—это почти что невозможно. И нельзя же за это винить семью П. А. Осиповой и ее детей, что они после смерти поэта не выселились из дома, а продолжали в нем вести свою прежнюю жизнь. Кроме того, Пушкин был для них живой реальный человек, друг, близкий семье, и их боль по его утрате тоже была живая и подлинная, а не наша идеальная боль, и не могли они начать свою скорбь о нем с неприкосновенности диванов и кресел. Они хранили его стихи, письма, а остальному не придавали особенного значения.

Когда человек где-нибудь бывает так часто, как бывал Пушкин в Тригорском, никто и не замечает и не обращает внимания, где он сидит, из какого спакана пьет. Вообще, чем дальше мы от человека, чем все меньше и меньше остается у нас следов его жизни, тем эти следы дороже. Для нас А. Н. Вульф, друживший с Пушкиным, М. И. Осипова, помнившая его с детства, тоже необычные люди

по своей связи с поэтом... для меня даже и М. И. Пальмов, так часто беседовавший с М. И. Осиповой о покойном поэте, живший в Тригорском тридцать лет, тоже был чем-то обвеян и какой-то своей частицей связан с этим музейным уголком, но для него и М. И. Осипова и жизнь в Тригорском сделались привычкой, потому что не может же человек, занимающийся хозяйством в имении тридцать лет кряду, каждый день препятствовать, входя в дом, в котором живет, потому что в этом доме жил Пушкин, как пропещем мы «благовея богомольно», если раз или два в жизни нам доведется переступить через исторический порог.

Освоенность с местом, с вещами мешает людям их хранить особенно бережно, и мы психологически неправы в своем обычном упреке за то, что кто-то чего-то не сберег.

Я помню, что лет 18 тому назад мне пришлось в одном доме, наполненном всякими реликвиями, однажды встретить аряхлую старушку, которая по случаю именин хозяйки, приехала к ней из какой-то дворянской богадельни. Старушка эта с одной стороны была чья-то родная племянка, а с другой ни более ни менее, как подруга А. П. Керн. Хозяйка дома так ее и воспринимала, как племянку, «племя Паню» с рассказами о ревматизмах, о бессонницах, а для меня она была живая реликвия, и мне казалось, что ни о ком и ни о чем, кроме своего прошлого она ни думать, ни говорить не должна.

Во всяком случае при дочерях П. А. Осиповой и при М. И. Пальмове в Тригорском больше было внимания к памяти поэта, чем в Михайловском при родном его сыне, Гри-

гории Ал. Пушкине и при сменивших его потом, после продажи имения, «комитетах».

В первый мой приезд в Тригорское там жил только М. И. Пальмов со своей семьей, последняя его владелица баронесса С. Б. Вревская переселилась туда несколько позднее.

Арендатор очень приветливо встречал приезжих. Он водил меня по дому, по усадьбе, показывал все мелочи, сообщал все, что было ему известно.

— Говорили мне, что Пушкин редко входил через дверь, а больше прыгал вот через это окно, крайнее с правой стороны. Это мне рассказывала сама М. И. Осипова.

— Вот за этим столиком он писал, когда гостил в Тригорском. А ночной столик Пушкина я случайно купил у здешнего мельника. На нем когда-то была написана красками мадонна, но мельник соскоблил живопись и покрыл все лаком.

— Это угловая комната, где ночевал Пушкин вместе с А. Н. Вульфом. Здесь же, говорят, он читал свои произведения.

М. И. Осипова, девочкой выдавшая Пушкина, рассказывала о нем Пальмову то немногое, что удержалось в ее ослабевшей к старости памяти.

Это все мелкие эпизоды, вся прелесть которых пропадает в передаче и которые имеют значение только там, на месте, в старой усадьбе и в старом доме.

Часть мебели и вещей была увезена баронессой С. Б. Вревской в ее другое имение, где она тогда жила, большая же часть, в том числе библиотека и кое-какие бумаги семейного архива оставались в Тригорском.

В 1914 году я уже застала С. Б. Вревскую в

Тригорском. В доме произошли некоторые перемены. Он был разделен на две половины, одну из них занимала владелица, в другой жил арендатор.

В зале, превращенном в столовую, рядом с семейными фотографиями арендатора — старинные масляные картины с пасторальными сюжетами, старинные гравюры. У входной двери большие часы в виде высокой колонки из красного дерева. Из залы одна дверь в столовую, другая в кабинет Пальмова, в котором прежде, во время своих приездов в Тригорское, останавливался Пушкин. Письменный стол, которым пользовался поэт, на прежнем месте около окна; другие старинные вещи баронессы перенесла на свою половину. Она же занимала и гостиную, которая уцелела почти в нетронутом виде.

Старушка С. Б. Бревская жила с целым штатом прислуги и почти никого не принимала.

Живо помню я мою встречу с ней в Тригорском. Точно приподнялся уголок завесы прошлого и повеяло давней, далеко отошедшей жизнью.

Со мной тогда приезжали в Пушкинский уголок О. А. Книппер и еще двое артистов Московского Художественного театра. Нам очень хотелось осмотреть весь дом, но возникло затруднение: баронесса никого не принимает. Сделали попытку доложить ей и долго ждали ответа. Наконец появилась в дверях старая горничная и спросила:

— Барышня приказали узнать, кто приехал, просят карточку. Визитная карточка нашлась случайно у кого-то одного из нас и мы все должны были на ней расписаться.

Ответ получился благоприятный и, нас позвали через темный коридор на половину баронессы.¹

В гостиной, уставленной тяжелой старинной мебелью разных времен, на кресле, закрытая до половины пледом, сидела маленькая сухая старушка с милым приветливым лицом. Перед ней на овальном столике красного дерева два тяжелых медных шандала со свечами и сонечко; сморщеные руки раскладывали пасьянс.

— Проспите, господа, что я вас задержала... Пожалуйста, осматривайте, что тут есть — мебель, портреты, картины...

— Вот моя бабушка, — и она указала на потемневший масляный портрет женщины в красноватом платье с черными глазами и волосами, изображающий Прасковью Александровну Осипову в молодости.

— А там вот — фотография моей матери, только уже она здесь старушка, а в молодости, говорят, была хороша собой.

Из овальной рамы выглядывает сморщенное лицо в чешце с рюшами... Это — та самая «воздушная» Евпраксия Николаевна Вульф, с которой, как предполагают некоторые, Пушкин писал свою Татьяну.

Как трудно себе представить Пушкинскую героиню, глядя на эту фотографию!.. Что делает время с людьми, во что их превращает!

— А несть ли у вас, баронесса, портрета Анны Петровны Керн?

— Портрета не сохранилось, но я ее помню хорошо. Ведь она была так близка с нашей семьей, не раз гостила здесь. Но когда мне пришлое ее увидеть, она уже была не той красавицей, как, говорят, прежде. Ведь я ее



Уголок гостиной в Тригорском. Портрет П. А. Осиповой.

знала в очень преклонных годах... Она всю жизнь вспоминала Александра Сергеевича... Да, давно уже это все было, очень давно...

На стене около массивного дивана красного дерева, перед которым стоял круглый стол, весь разрисованный орнаментами, сделанными пером от руки,—старые гравюры с портретов Пушкина, Боратынского, Башюшкова, Жуковского, в характерных для того времени рамках из цветного папье-машэ с золотыми тиснеными бордюрами. Тут же великолепной работы миниатюра, изображающая А. Н. Вульфа в молодости. На другой стене рядом большое потемневшее полотно—«Искушение св. Антония»—картина, которая по словам С. Б. Вревской, еще во времена ее бабушки считалась очень ценной, но имя художника (видимо, иностранного) неизвестно. Напротив, на третий стене еще несколько картин, две—три фотографии более позднего происхождения и портрет Петра Великого.

Семейный архив Осиповой, до последнего времени хранившийся в Тригорском (причем о его существовании не знал никто, даже арендатор) и обнаруженный случайно, когда открывали какой-то шкафчик (это произошло как раз в моем присутствии в 1911 году, когда мне уже были поданы лошади для отъезда и М. И. Пальцов разыскивал для меня не то какой-то снимок, не то письмо)—этот архив в 1913 году пожертвован баронессой Академии наук.

— И вот вспомнили меня все-таки, прислали книгу...—говорит старушка и дрожащей рукой берет со стола том Академического издания.



Пушкинский уголок гостиной в Тригорском.



Гостиная в Тригорском в 1914 году.

— А вот и книга из Опочки, выпущена к юбилею. Только здесь много выдумок — лицо баронессы выражает презрительное недовольство. — Кто-то написал тут, что будто бы моя матушка влюблена была в Александра Сергеевича, а вышла замуж за барона Вревского, потому что он был богатый жених... Все это глупости и никто этого не знает. Вообще много написано такого про нашу семью, чего никогда и не было...

Старушка развеллаась и оподвинула от себя картины; потом, вздохнув, опять принялась за пасьянс.

— Пожалуйста, господа, осматриваешь, что сохранилось... По углам шкафчики, этажерки, белые и красные кресла с полинявшей обивкой; тут же старое фортепиано с бронзовыми украшениями.

Медно стучит маятник больших спальных часов. Мы осторожно ступаем по некрашеному деревянному полу, точно боясь нарушить тишину дома, спугнуть воспоминания прошлого, которые, кажется, притаились здесь в каждом углу...

Тихо колышется кисейная занавеска, в открытное окно заглядывает цветущая яблоня, врывается весенний аромат, журчат пчелы в саду...

«Дочь Татьянки» в очках склонилась над пасьянсом. В дверях, ожидая ее приказаний, стоит старый седой лакей крепостных времен...

И странно подумать, что где-то там, в спироне, грохочет в своей суполке современный город, гудят автомобили и лихорадочно мечутся люди, которые давно ушли от запиша старых усадеб или никогда и не слы-



Гостиная в Тригорском.

Гаррис.—Уголок Пушкина

хали о нем. Кажется, что вот откроется дверь, войдет девушка в кисейном плаще с медальоном на шее, как на старинных портретах, и откроет крышку старого рояля... Лакей зажмет свечи в шандалах, и старушка, отложив в сторону картины, будет слушать старинный роман.

Но все это умерло, ушло, а старушка однажды вспоминает свой век, одна со своими одинокими воспоминаниями—живая реликвия минувших лет, такой же забытый обломок отошедшего, как и ее дряхлый слуга, который, стоя и не закрывая глаз, дремлет позади ее кресел.

У арендатора Тригорского целый Пушкинский альбом, им составленный: масса снимков Пушкинского уголка, сделанных и любителями и фотографами из г. Острова и Опочки, которые, насколько мне известно, еще нигде не воспроизвелись. Особенно интересна одна фотография, которая предсказывает большую редкость. Она изображает дорогу в Михайловское, и на том месте, где когда-то стояли,

..... три сосны
Стоят: одна поодаль—две другие
Друг к другу близко,—

—на снимке запечатлен обгоревший спил без вершины последней Пушкинской сосны.

На другой фотографии—раскрытый склеп и в нем гроб Пушкина. Сделан этот снимок писателем Щегловым, приехавшим из Петербурга с бароном Розеном и случайно оказавшимся в Святых горах в то время, когда местный Пушкинский комитет, никого об

этот не предупредив, производил ремонт могилы поэта.

Пальмов мне рассказывал, что дубовый гроб Пушкина сохранился в нетронутом виде и около него нашли даже кусочек парчевой бахромы, отпавшей от гроба. Рабочий, выйравший из склепа мусор и камни, доспал несколько гвоздей старинного фасона, вероятно, от ящика, в котором первоначально стоял гроб. Грунты Синичьей горы сухой и песчаный, подпочвенные воды не достигают склепа и неудивительно, что тление некоснулось гроба Пушкина. (Подробности эти сообщил мне Пальмов, лично присутствовавший при вскрытии склепа в Святых горах и получивший от Щеглова на память снимок открытой могилы).

Огромный парк Тригорского увидели мы в полной неприкосновенности со времен поэта, его не коснулись никакие порубки. В парке при П. А. Осиповой стояла баня, в которой иногда помещались Пушкин с А. Н. Вульфом или Н. М. Языковым и тут устраивали, как сообщает местное предание, свои пирушки. Теперь от бани этой, которую еще помнил Пальмов, уже ничего не осталось, кроме за jakiшего землею фундамента. Пройдет еще несколько лет, и это место зарастет деревьями.

Арендатор следил за тем, чтобы спасать парк от чрезмерной запущенности и вместе с тем не подновлять его особенно старательно расчисткой, которая бы неприятно бросалась в глаза.

Незаметные дорожки ведут по аллее. Широко разрослись старые яблони и липы; многие из них еще помнят поэта.

Парк Тригорского.



„Ель-шатер“ в парке Тригорского.



Вот знаменитая «елъ-шатер», поражающая своими колоссальными размерами; ей насчитывают большие двухсот лет. Под ее ветвями, спускающимися до самой земли, могут свободно поместиться человек пятьдесят, ствол ее колоссальной толщины. Говорят, что это было любимое дерево Пушкина в парке. Еще показывают «березу-седло», на которой он часто сиживал. «Солнечные часы» — двенадцать дубов, посаженные равным кругом на лужайке, еще год тому назад могучие и крепкие, почти совсем засохли, и грустно смотреть на их обнаженные узловатые ветви посреди молодой весенней зелени берез и лил. Засыхает и «лукоморье» — громадный дуб, одиноко стоящий на холме.

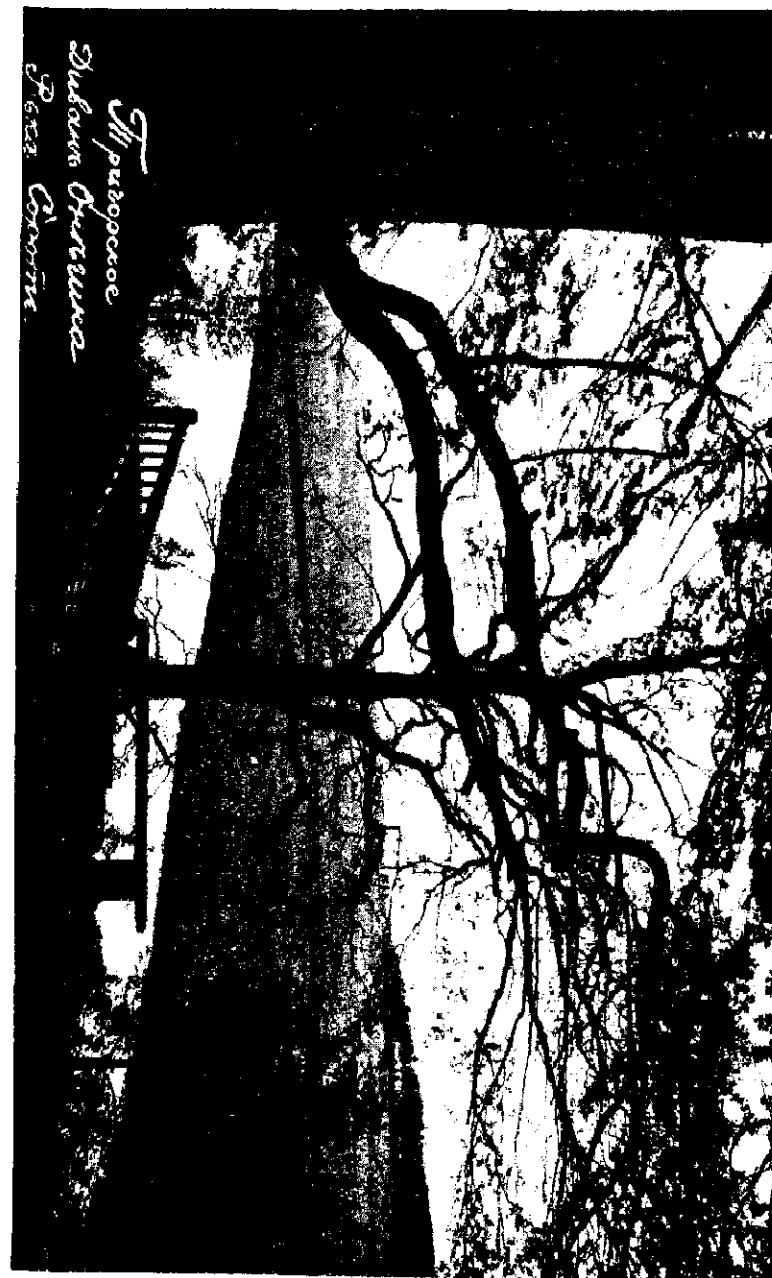
Около «солнечных часов» другая лужайка. Здесь в старину устраивались танцы, и бродячие музыканты, которых приглашали для этих случаев, помещались под деревьями. Площадка с тех пор сохранила название «балльной залы».

Парк кончается крутым обрывом над рекою Соротью. У обрыва этого под сенью сросшихся в один ствол листвы и клена стоит «Аиван Онегина».

Чудесный вид открывается с горы на холмистое пространство. Серебряной лентой вьется прозрачная Сороть, за ней волнами расстилается поле; налево высокая «Савкина гора», которую когда-то мечтал купить у П. А. Осиповой Пушкин, чтобы построить себе на ней дом, направо по холмам идет дорога в Михайловское к густому сосновому бору...



Дуб-Лукоморье.



Тригорское, „Диван Онегина”, (река Сороть).



Тригорское. Вид с „дивана Онегина“.

Тригорское и его окрестности запечатлены в прекрасных стихах Н. М. Языкова:

В стране, где славной старины
Не все следы истреблены,
Где сердцу русскому доньне
Красноречиво говорят
То стен полуразбитых ряд
И вал на каменной вершине,
То одицкий древний храм,
Среди бесплодной поляны,
То благородные курганы
По зеленеющим брегам;
В стране, где Сдроть голубая,
Подруга зеркальных озер,
Разнообразно между гор
Свои изгибы расстилая,
Водами ясными поит
Поля, украшенные нивой:
Там у раздолья, гряделиво
Гора треххолмная стоит.

Выпало, солнце без лучей
Стоит и рдеет в бездне пара,
Тяжелый воздух полон жара;
Вода чуть движется; над ней
Склонилась томными ветвями
Дерев безжизненная тень.

Певец Руслана и Людмилы.
Была счастливая пора,
Когда так веселы, так миль
Неслися наши вечера.
Там на горе под мирным сводом
Старейшина сада вековых,
На дерне свежем и щелковом
В виду окрестностей живых...

Как далеко отошла эпоха «счастливая пора». Ее живые свидетели давно исчезли, и только старый парк стоит величественным памятником далеких воспоминаний...

Заходит солнце. Золотые блики проглядывают сквозь ажур ветвей, бледнеют и опу-

скаются ниже и ниже. Тень набегает на прозрачные воды реки; она становится густо-голубой, потом темно-синей со сплошным отливом. Поля как-будто уходят в даль и за-волакиваются темной дымкой.

Начинают перекликаться соловьи. Сначала раздаются обрывистые, неуверенные трели, затем звонче звучат голоса лесных певцов и, наконец, в вечернем сумраке весь громадный парк Тригорского наполняется звуками.

Мы сидим на обрыве у «дивана Онегина», завороженные волшебством весны и тихой грустью воспоминаний о далеком прошлом старой усадьбы.

Поместья мирного незримый охранитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенья, лес и дикий садик мой
И скромную семью моей обитель.

Люби мой милый сад и берег сонных вод
И сей укромный огород
С калиткой ветхую, с обрушенным забором.
Люби зеленый скат холмов,
Луга, измятые моей бродячей ленью,
Прохладу лип и кленов шумный кров:
Они знакомы вдохновенью.

Трудно передать то чувство, которое охватывает, думаю, каждого при приближении к Михайловскому. Здесь воспета каждая пядь земли, каждый уголок освящен соприкосновением с поэтом.

Михайловское — это наша литературная Мекка, в нее вступаешь с волнением, не поддающимся словам, и глаза напряженно всматриваются в каждую мелочь, стараясь запечатлеть ее в памяти. Здесь все кажется особенным; здесь не просто любишься

Тригорское и его окрестности запечатлены в прекрасных стихах Н. М. Языкова:

В стране, где славной старины
Не все следы истреблены,
Где сердцу русскому доньше
Красноречиво говорят
То стен полуразбитых ряд
И вал на каменной вершине,
То одинокий древний храм,
Среди бесплажитной поляны,
То благородные курганы
По зеленеющим брегам;
В стране, где Сдроть голубая,
Подруга зеркальных озер,
Разнообразно между гор
Свои изгибы расстилая,
Водами ясными поит
Поля, украшенные пивой:
Там у раздолья, г. рделиво
Гора треххолмная стоит.

Бывало, солнце без лучей
Стоит и рдеет в бездне пира,
Тяжелый воздух полон жара;
Вода чуть движется; над ней
Склонилась томными ветвями
Дерев безжизненная тень.

Певец Руслана и Людмилы,
Была счастливая пора,
Когда так веселы, так миль
Неслися наши вечера.
Там на горе под мирным сводом
Старейшин сада вековых,
На дерне свежем и шелковом
В виду окрестностей живых...

Как далеко отошла эпоха «счастливая пора». Ее живые свидетели давно исчезли, и только старый парк споит величественным памятником далеких воспоминаний...

Заходит солнце. Золотые блики проглядывают сквозь ажур ветвей, бледнеют и опу-

скаются ниже и ниже. Тень набегает на прозрачные воды реки; она становится густо-голубой, потом темно-синей со сплошным отливом. Поля как будто уходят в даль и захватываются темной дымкой.

Начинают перекликаться соловьи. Сначала раздаются обрывистые, неуверенные трели, затем звонче звучат голоса лесных певцов и, наконец, в вечернем сумраке весь громадный парк Тригорского наполняется звуками.

Мы сидим на обрыве у «дивана Онегина», завороженные волшебством весны и тихой грустью воспоминаний о далеком прошлом старой усадьбы.

Поместья мирного незримый охранитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храня селенья, лес и дикий садик мой
И скромную семью моей обитель.

Люби мой милый сад и берег сонных вод
И сей укромный огород
С калиткой ветхую, с обрушенным забором.
Люби зеленый скат холмов,
Луга, измятые моей бродячей ленью,
Прохладу лип и кленов шумный кров:
Они знакомы вдохновенью.

Трудно передать то чувство, которое охватывает, думаю, каждого при приближении к Михайловскому. Здесь воспета каждая пядь земли, каждый уголок освящен соприкосновением с поэтом.

Михайловское — это наша литературная Мекка, в нее вступаешь с волнением, не поддающимся словам, и глаза напряженно всматриваются в каждую мелочь, стараясь запечатлеть ее в памяти. Здесь все кажется особенным; здесь не просто любуешься

природой, а на каждое дерево глядишь с благоговением, и все мысли, все ощущения сливаются в одно огромное и всеобъемлющее слово: П у ш к и н.

Мы с детства привыкаем к этому имени, осваиваемся с ним, сживаемся с великими произведениями, но сам поэт, сколько бы мы ни изучали его жизнь и творчество, все же остается для нас каким-то отвлеченным понятием. Он слишком лучезарен и слишком далек, и только здесь, в глухи псковской деревни, впервые представляешь себе его живой человеческий образ, как-то убеждаешься в том, что он жил не только в своих созданиях, но жил, как и мы живем, не в сказке, а в действительности. Думаешь: вот здесь стоял тот самый дом, где он писался в одной комнате две долгих зимы; смотрел из окна вот на эту самую природу; здесь он ходил, ездил по этой именно дороге по окрестностям; может быть, стоял в раздумье, прислонясь к тому самому дереву, около которого стою теперь я... Думаешь так, точно винуешь себе, что это правда, а не вымысел, и все-таки как-то не веришь себе, особенно в первые моменты.

Что бы ни происходило в нашей жизни, каким бы ни переменам ни подвергались наши понятия, вкусы и спримечания, сколько бы новых пчечий ни появлялось в искусстве и в литературе, Пушкин есть и будет — великое чудо нашей истории, и не иссякнет, не может иссякнуть благоговейное преклонение перед его личностью. Мы, сами того не замечая, живем им и не можем уйти от его очарования.

И неудивительно, что когда попадаешь в этот забытый уголок, отрешившись от всей сумлоки ежедневной жизни, когда видишь места, о которых когда-то рассказывали нам по книжке «учителя словесности» — начинаешь казаться, что уходишь в какую-то прекрасную сказку, которая проникает вас насквозь божественной красотой его созданий. Здесь чувствуешь его, как живой догмат испанского искусства, здесь особенно умиленно и благодарно радуешься тому, что он был у нас. Здесь испытываешь чувство гордости за Россию и любишь ее особенной любовью...

Тот, кто придет сюда только с записной книжкой для искания «новых материалов» и будет лишь «штудировать» Пушкинский уголок, как штудируют музеи, — тот в значительной степени обесцветит и ослабит свое впечатление. Самому ученому и академически настроенному испорику литературы здесь необходимо хотя на время забыть об исследовательских намерениях, не сразу вынимать из кармана свой блок-нот: Пушкин ясен и величав, как природа и, как она, проникает в душу сквозь все поры нашего умственного и нравственного существа.

Как бы давно вы ни читали его, вы вспомните здесь забытые строки его стихов. Здесь он звучит и звучит удивительно полно и прекрасно. Он здесь во всем и все в нем.

По дороге из Тригорского в Михайловское с правой стороны то поле, на котором когда-то стояли три сосны, а с левой стороны — густая сосновая роща. Об этих местах вспоминал Пушкин, незадолго до смерти, приехав в родную усадьбу.

Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Иагнанником два года незаметных—
Уж десять лет ушло с тех пор—и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону—
Переменился я; но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо
И кажется вечер еще бродил
Я в этих рощах...

На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят: одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко.

Здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я и пред собою
Увидел их опять. Они все те же,
Все тот же их знакомый уху шорох—
Но около корней их устарелых
Где некогда все было пусто, голо
Теперь малая роща разрослась,
Зеленая семья; кусты теснятся
Под сенью их как дети.....

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего.

Не суждено было исполниться желанию
поэта, высказанному дальше в этом стихо-
творении:

...Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полв,

Пройдет он мимо вас во мраке ночи.
И обо мне вспомянет¹⁾.

— усадьба продана была сыном поэта, Г. А. Пушкиным, родовое гнездо опустело.

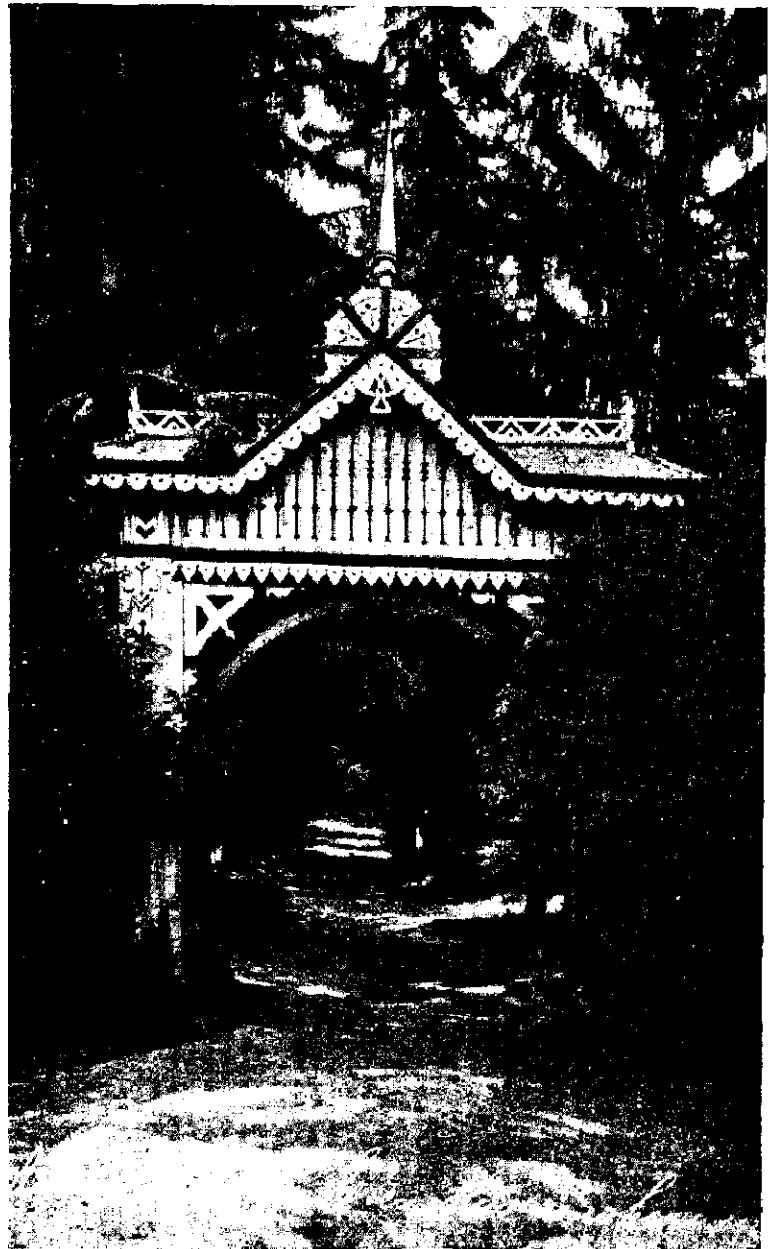
Михайловское во многом переменилось, и перемены эти неприятно поражают взгляд.

При самом начале въездной аллеи из спаренных гигантских елей, были кем-то построены деревянные ворота, того пошлого псевдо-русского стиля, которыми любили украшать иногда летние сады в уездных городах или «собственные участки» подмосковных дачных поселков. Кому и зачем понадобилось таким сооружением «украсить» и «подновить» Михайловское—постигнуть невозможно. К числу подновлений относится и дом-музей. Он так и бросался в глаза своей яркой крышей. Не менее блеска было наведено и на два дома «колонии престарелых литераторов».

Надо думать, что во время изгнаничества Пушкина здесь также не было ни этих спартанельно расчищенных дорожек, ни подстриженных деревьев в куртинах. Все это «благоустройство», напоминающее с иголочки новенькую усадьбу, построенную по плану современного хозяина, на развалинах старого «дворянского гнезда»—совершенно не вязалось с представлением о прежней усадьбе поэта, «с калицкой ветхою, с обрушенным забором», с шаткими ступенями на крыльце, с неополненным из-за экономии дров домом по зимам...

Не умеем мы хранить наших заповедных уголков: или доведем все до такого разрушения, что только один «лопух вырастет» или

1) Это стихотворение воспроизводится по недавно восстановленному М. Гофманом, на основании чистовой рукописи тексту (М. Гофман. Посмертные стихотворения Пушкина 1833—836 г. Петроград. Российской Госуд. Академ. Типогр. 1922).



Вездные ворота в Михайловском.

переусердствуем не в меру. Так было и с Михайловским: во-время ничего не взяли на хранение, а потом спохватились и начали воздвигать во славу Пушкина какие-то нелепые постройки, подспригать деревья, округлять клумбы¹⁾. Во всей усадьбе от прежнего осталась одна только постройка — маленький флигелек, с крытым крылечком — так называемый «домик няни». Он стоит с левой стороны от «дома-музея», наполовину спрятанный в зелени. Мебели в нем никакой уже давно не было, оконки крошечные, низкие потолки. Прямо из входной двери кухня — она же корridor. Стояла в ней еще небольшая плита, вероятно недавно переделанная, потому что кирпичи были старательно выбелены. Направо и налево две комнатки с облупившимися обоями, из-под которых местами выглядывала потрескавшаяся штукатурка.

В одной из этих комнаток стоял на подоконнике обрубок сосны, высотой около полуаршина, который все называли частью «Пушкинской сосны». Насколько он был подлинный, удостовериться невозможно, но с ним связана прозаическая история. Рассказывали, что раньше эта реликвия хранилась в прежнем барском доме и вот, когда дом загорелся, сын местного помещика, некий Княжевич, молодой человек, спасший поклонник Пушкина, который прискакал на пожар в Михайловское,

1) При взгляде на Михайловское с его бессмысленным домом-музеем вспомнилась мне „Киндяковка“ под Симбирском, где Гончаров писал „Обрыз“. Как идеально она была сохранена, до каких мелочей и как поддерживалось все в том же виде. Но ее охраняли не комитеты, а, к стыду нашему, иностранка, английская подданная Е. М. Перси-Франг, которая и памятник Гончарову там поставила на свои средства.



Дом-музей в Михайловском.

бросился, рискуя жизнью, в пылающий дом, чтобы спасти этот обрубок.

«Домик на ниве» некоторые совершенно ошибочно считают тем самым, где во время своего изгнания жил поэт. Пушкин жил в давно исчезнувшем доме, который стоял на месте нынешнего «музея». Дом этот был затем перестроен совершенно заново, так что от старины и следов не осталось, а потому, во время последнего ремонта, от неосторожности помещавшихся в нем рабочих — сгорел.

Дом-музей возник на спаром пепелище, кажется, в 1911 году. Хотя и уверяют, что его строили по подлинному плану подлинного Пушкинского дома, но трудно этому поверить. Он вообще и на помещичий-то дом не похож; «стильного» в нем всего на всего одни толстые колонны и, благодаря им, а главное, благодаря исключительно красивому и эффектному местоположению — он стоит на высоком берегу реки Сороти, тут же перед домом впадающей в озеро — издали с озера он хорошо выглядывает из зелени этими белыми колоннами.

Но по какому бы плану ни строился «дом-музей», ни малейшей иллюзии Пушкинского жития в Михайловском он не давал. Эта «казенная постройка» ничего общего не имела с домом поэта. И он сам и его современники заставляют рисовать совершенно другую картину. «Скромную семью моей обители», царство Арины Родионовны, мы представляем себе совсем не таким.

В Михайловском необыкновенно хороша природа, но самая усадьба во времена Пушкина (и в годы его ссылки, и в последний приезд), по всей вероятности, не представляла собою



Михайловское. Внутренность домика няни.

ничего импозантного. Все было скромно, пожалуй, винчо. Прелестъ этого уголка была совсем особая, особый был в ней дух. Вспомните эпо прогательно грустное описание:

Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет, уж за стеною,
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни утренних ее дозоров...
А вечером, при завываньи бури,
Ее рассказов, мною затверженных
От малых лет, во никогда не скучных.

.....

После этих стихов войдите в дом-музей. Большие светлые комнаты, ослепительно выбеленные стены и симметрично расставленная мебель точно сейчас из магазина или от столяра. В сущности так оно и было: вся обстановка дома-музея представляла собой поддельную старину и вся она была заново сделана по образцам мебели Тригорского. Получилось нечто ужасное — малинового цвета красное дерево, яркие обивки и пр. Весь этот нелепый инвентарь нелепо был расставлен по нескольким комнатам. Сноснее других выглядела гостиная, хотя блеск стен, полов и самой мебели и в ней резал глаза, но другие комнаты были уже совсем плохи.

Памятуя то, что Пушкин любил сам с собой играть на биллиарде — устроили биллиардную комнату с огромным, безобразным биллиардом (тоже малинового цвета), но дальше уже о «стиле» не заботились. Тут были собраны и венские спулья и даже дубовые стенные часы рисунка модерн, попавшие в музей, потому что их кто-то сюда перетащил, и пр., и пр. Одна комната должна была изображать собою читальню: круглый



Дом-музей в Михайловском.

спол, библиоинчный шкаф, наполовину пустой, при чем из единственного находившегося в читальне экземпляра сочинений Пушкина неизвестно кем были похищены два тома (хотя читающие читалню не посещали).

Самой ужасной пародией была комната, которая изображала кабинет Пушкина. Представьте: большой дубовый письменный стол с красным сукном самого новейшего образца, диван и кресла «под спарину» и несколько стульев. Комната большая, мебель в ней стоят и она кажется почти пустой — типичный кабинет конторы средней руки. На спине несколько фотографий Пушкинского уголка, а над самым письменным столом, рядом с портретом Пушкина, портрет... ни более, ни менее Льва Толстого. В «кабинете Пушкина» никого из его современников и друзей, никого из его родных — только один Толстой, не признававший и не понимавший Пушкина. У меня невольно мелькнула мысль: глупость это или насмешка? Но мне объяснили, что он одного происхождения с часами, украшенными декадентским рисунком — он был тоже пожертвован в музей Пушкина.

К устройству этого музея не было приложено ни знания, ни любви к делу, ни самой элементарной добросовестности. Но если беспытый Пушкинский комитет при всем своем усердии не мог ни до чего лучшего додуматься, кроме малинового дерева и венских стульев, то наши «присяжные пушкинисты» должны были как-то вмешаться в это дело...

Из «музея» спешишь скорее уйти к природе, которая осталась неискаженной. Стоит только отойти в сторону от разукрашенной усадьбы, как «минувшее объемлет живо».



Фруктовый сад в Михайловском.



Ограждения Михайловского.

Оно живет в великолепной старинной ли-
повой аллее, современнице поэта, в стари-
ном фруктовом саду, в густом, темном от
разросшихся сосен и елей, парке, в красавице
Сироты, на берегах озера, на его зеркальной
поверхности.

Спуск от дома к реке весь покрыт кустар-
ником; шиповник смешивается с одичавшими
розами, акацией, сирень стоит сплошной сте-
ной. Немного поодаль от дома тот «холм ле-
систый, над которым часто» поэт

„ . . . сиживал недвижим и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны.
Меж нив златых и пажитей зеленых
Оно, синяя, стелется широко:
Через него неведомые воды
Плыют рыбак и тянет за собой
Убогий певод. . .

Эта картина не изменилась до сих пор.

Необыкновенно хороши окрестности Ми-
хайловского, особенно сосновые леса, с ма-
ленькими прозрачными озерами, холмы с из-
вилистыми песчаными дорогами и тропинками,
хорош весь этот простор не уныло-пологой
равниной, а богатой своей сухой роскошью
северной природы. Здесь было где часами хо-
дить пешком и целые дни пропадать верхом
на лошади. Здесь «единение» было «совер-
шенно», и «праздность» была «торжествен-
на»; здесь в тиши рождались и назревали
творческие замыслы, чистой волной набегало
чистое вдохновение. Здесь было царство ве-
ликого русского гения.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ—МОСКВА.

История и критика литературы.

- Гершензон, М. О. История молодой России. 1923 г. Стр. 318.
Бирюков, П. П. Биография Л. Н. Толстого. С иллюстрациями. 1923 г. Стр. 321.
Гроссман, Л. П. Семинарный по Достоевскому. Материалы, библиография и
комментарии. 1923 г. Стр. 117.
Гливинко, И. И. Чтения по истории всеобщей литературы. Изд. 2-е. 1923 г.
Стр. 314.
Валидов, Д. Очерк истории образования и литературы волжских татар (до
рев. 1917 г.), вып. I. 1923 г. Стр. тоб.
Документы по истории литературы и общественности, вып. II. Н. С. Тургенев
1923 г. Стр. 164.
Коган, П. С. Очерки по истории западно-европейских литератур, т. I. Изд.
8-е. 1923 г. Стр. 376.
Его-же. Очерки по истории западно-европейских литератур, т. II. Изд. 7-е.
1923 г. Стр. 403.
Луначарский, А. В. Этюды. Сборник статей 1923 г. Стр. 342.
Майдельштам, Р. С. Художественная литература в оценке русской марксист-
ской критики. Ред. и предисл. И. К. Пинсанова. Изд. 2-е, дополн.
1923 г. Стр. 95.
Овett, А. Итальянская литература. Перев. М. Соболевского. 1923 г. Стр. 351.
Пинсанов, И. Н. Два века русской литературы. Темы. Вопросники. Библио-
графия. 1923 г. Стр. 208.
Его-же. Старорусская повесть. Темы. Вопросники. Библиография. 1923 г.
Его-же. Грибоедов и Мольер. 1923 г. Стр. 80.
Пушкинский сборник. Памяти проф. С. А. Венгерова. Под. ред. И. Н. Яковлева.
1923 г. Стр. 362.
Розанов, М. И. Очерк истории английской литературы 19 века, ч. I. Эпоха
Байрона. 1923 г. Стр. 247.
Санулии, П. Н. Русская литература и социализм, ч. I. 1923 г. Стр. 504.
Сборник Пушкинского дома на 1923 год. Стр. 351.
Фриче, Б. Корифеи мировой литературы и Советская Власть. 1923 г. Стр. 27.

ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА:

МОСКВА, Ильинка, Биржевая площадь, Боголюбенский пер., 4.
ПЕТРОГРАД, Проспект 25-го октября (Невский), 28.

Магазины в Москве:

- 1) Советская площадь (под гост. „Дрезден“). 2) Моховая, 17. (под гост. „На-
циональ“). 3) Большая, Ницкская, 13 (здание консерватории). 4) Николь-
ская ул., 3. 5) Серпуховская пл., 1/43. 6) Кузнецкий мост, 12.

Магазины в Петрограде:

- 1) Проспект 25-го октября (Невский) 28. 2) Проспект Володарского (Литей-
ный), 21. 3) Проспект 25-го октября, 13. 4) Проспект 25-го октября, 68.